

УЛЬЯНА СОБОЛЕВА

КАТЕРИНА

МУЖ МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ

ЧАСТЬ III

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Ульяна Соболева Катерина. Муж мой единственный (Враг мой любимый 3)

*<https://litres.ru/74339143>
SelfPub; 2026*

Аннотация

1770 год. Русско-турецкая война разбрасывает судьбы людей от холодного Петербурга до охваченного огнём Эгейского моря.

Катерина научилась выживать там, где надежда становится смертельной слабостью, а любовь — самым жестоким оружием. Она больше не та девушка, которую можно запереть, купить или заставить покориться. Но прошлое вновь настигает её в лице мужчины, которого она пыталась одновременно забыть и оплакать.

Григорий Никитин возвращается из ада войны — израненный, опасный и по-прежнему одержимый единственной женщиной, способной его уничтожить. Между ними стоят годы боли, предательство, чужая кровь и тайна, за которую могущественные люди готовы убивать.

Им предстоит решить, можно ли воскресить любовь, однажды превратившуюся в ненависть. И что страшнее: снова довериться

своему любимому врагу — или навсегда потерять единственного мужчину, которому принадлежит сердце.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	21
Глава 3	36
Глава 4	52
Глава 5	70
Глава 6	86
Глава 7	102
Глава 8	118
Глава 9	133
Глава 10	148
Глава 11	163
Глава 12	178
Конец ознакомительного фрагмента.	184

Ульяна Соболева

Катерина. Муж мой единственный (Враг мой любимый 3)

Глава 1

Я попрощалась со своим прошлым.

Так я сказала Александру Захаровичу, когда палач поднял за волосы отрубленную голову моего мужа, а толпа, ещё секунду назад захлёбывавшаяся от нетерпения, отпрянула от эшафота единым испуганным зверем. Так сказала, хотя прошлое не осталось на Обжорном ряду вместе с обезглавленным телом Николая. Оно забралось в карету следом за мной, уселось напротив, положило окровавленную голову на колени Чернышева и всю дорогу смотрело на меня открытыми глазами.

Николай умер, не увидев меня.

Я сидела за опущенной шторкой, в двух десятках саженей от плахи, и не нашла в себе мужества хотя бы приподнять край тяжёлого бархата. Мне казалось: стоит выглянуть, наши глаза встретятся, он узнает меня даже под густой вуалью,

среди сотен жадных до чужой смерти лиц, и тогда я уже никогда не смогу забыть, как смотрел на меня человек, которому оставалось жить одно движение руки палача.

А теперь было поздно.

Поздно прощать, поздно ненавидеть, поздно кричать ему, что он сам превратил свою любовь в пыточное орудие и истязал ею нас обоих. Поздно спрашивать, зачем он бил меня теми руками, которыми прежде держал подарки; зачем целовал мои синяки губами, способными через час назвать меня шлюхой; зачем так отчаянно хотел обладать женщиной, которой ни разу не позволил просто остаться человеком.

— Перестань кусать губы, милая, — прошептала Марта и прижала к моему рту влажный платок. — Ты опять раскрыла их.

Я посмотрела на белый батист. На нём распустилось маленькое алое пятно, похожее на розу. У Николая кровь была темнее. Она хлынула на золотой песок тяжёлой струёй, и я всё-таки увидела её — не через окно, нет, я смотрела в грудь Марты, но видела каждую каплю так ясно, словно стояла возле плахи на коленях.

— Он просил у меня прощения, — сказала я, и собственный голос показался чужим, будто говорил кто-то, уже похороненный внутри меня. — А я спряталась.

— Вы сохранили ему жизнь настолько, насколько это было возможно, — спокойно произнёс Чернышев. — Передали лекарство. Простили. Большого он не заслуживал.

Он сидел напротив, безупречно прямой, собранный, застёгнутый на все серебряные пуговицы тёмно-синего камзола. Ни снежинки на плечах, ни грязного пятнышка на высоких сапогах, ни одной выбившейся пряди из перевязанного чёрной лентой хвоста. Будто возвращался не с казни трёх человек, а с утомительной дипломатической аудиенции, на которой собеседники оказались недостаточно умны, чтобы развлечь его.

Меня передёрнуло. Под платьем ломило рёбра, саднили следы плети, распухший глаз видел мутно, а каждый толчок кареты отзывался болью в животе — там, куда Николай бил меня сапогом, прежде чем солдаты выволокли его из спальни. Я была похожа на разбитую фарфоровую куклу, которую из жалости собрали по кускам, завернули в дорогой плащ и посадили на бархатное сиденье. Чернышев же смотрел на меня с таким сдержанным вниманием, словно уже прикидывал, где поставить эту испорченную вещь в собственном доме.

— А кто решает, чего заслуживает мёртвый? — спросила я. — Вы?

— Мёртвому безразлично. Решение всегда принимают живые.

— Удобная философия для человека, который привык принимать решения за других.

Его губы дрогнули. Не улыбка — тень улыбки, тонкая, как царапина на стекле.

— Рад видеть, что к вам возвращается характер. Ещё утром вы дрожали.

— Я и сейчас дрожу.

— От холода?

— От отвращения.

Марта испуганно сжала мою руку, умоляя замолчать, но Чернышев лишь чуть склонил голову, будто принял комплимент. Это спокойствие действовало страшнее ярости Николая. Тот вспыхивал, и я всегда видела мгновение, когда следовало отступить, солгать или схватиться за нож. Чернышев не вспыхивал. Огонь в нём горел где-то глубоко, за холодными серыми глазами, и оттого невозможно было понять, когда он согреет руки, а когда сунет в пламя чужое лицо.

— Отвращение полезнее жалости, Екатерина Павловна. Оно возвращает человеку желание жить.

— Вы так часто вызываете его в женщинах, что успели хорошо изучить?

На этот раз он улыбнулся по-настоящему.

— Нам предстоит интересная жизнь.

Вдоль позвоночника прошёл ледяной озноб, будто кто-то медленно провёл ногтем от затылка до поясницы. Я хотела спросить, что означает это «нам», но язык прилип к нёбу. За окном Петербург плыл в серой предрассветной мгле: чёрные каналы, закованные первым льдом, каменные фасады, редкие фонари, снег, истоптанный толпой. Казалось, весь город провожал нас и молчал, зная то, чего ещё не знала я.

Когда карета остановилась, Чернышев вышел первым и протянул руку. Я посмотрела на узкую ладонь в серой перчатке и вспомнила руку Николая, лежавшую на плахе отдельно от тела, — длинные пальцы, перстень, грязь под сломанным ногтем. Желудок свело, к горлу подкатила горячая горечь.

— Я сама.

— Не сомневаюсь. Но ступени обледенели.

— Если упаду, вы получите ещё несколько синяков к вашей коллекции.

— Моей коллекции?

— Разве вы не поэтому меня забрали? Редкость: княгиня, обвинённая в заговоре, избитая мужем, помилованная государыней и ещё тёплая после казни. Можно показывать гостям между античной вазой и чучелом диковинной птицы.

Марта ахнула. Чернышев приблизился, и его рука всё-таки сомкнулась на моём запястье. Бережно, почти ласково, но пальцы легли точно поверх багровых отметин, оставленных Николаем. Я втянула воздух сквозь зубы. Боль разошлась по руке горячими трещинами.

— Я не собираю сломанные вещи, — тихо сказал он. — Мне интереснее наблюдать, как они пытаются притвориться целыми.

Он помог мне спуститься, и я возненавидела себя за то, что без его руки действительно не удержалась бы на ногах.

Дом Чернышева стоял на набережной, строгий, светлый,

с высоким гранитным крыльцом и двумя рядами окон. Никакой кричащей позолоты Потоцких. Никаких пухлых амуров, облепивших карнизы, никаких гербов размером с ворота. Только ровные колонны, чёрные фонари и каменные львы по обе стороны лестницы. Дом человека, которому не требовалось доказывать своё могущество: оно смотрело из каждого тёмного окна.

Двери распахнулись прежде, чем мы поднялись. Дворецкий в чёрном кафтане поклонился так низко, что седой хвост коснулся плеча. За ним выстроились слуги — безмолвные, одинаково прямые, одинаково равнодушные. Ни один не посмотрел на моё избитое лицо дольше положенного, и это показалось унижительнее откровенного любопытства. Я была скандалом, который хорошо вышколенная прислуга получила приказ не замечать.

Внутри пахло воском, горящими поленьями и лавандой. Голубоватый мрамор пола отражал свечи. Стены обиты тёмно-зелёным шёлком, над белым камином висел портрет молодой женщины в серебристом платье. Она была хороша той холодной, правильной красотой, рядом с которой хочется поправить осанку и спрятать грязные руки. Женщина смотрела на Чернышева с портрета без нежности, но с правом собственности.

— Ваша жена? — спросила я.

— Покойная сестра.

— Простите.

— Вам не за что просить прощения. Вы её не убивали.

Слова прозвучали ровно, однако в зале словно стало холоднее. Он снял перчатки и передал их дворецкому.

— Приготовить для Екатерины Павловны голубые покои. Позвать лекаря. Развести огонь. Подать горячую воду и лёгкий завтрак.

— Мы не задержимся, — сказала я. — Мне нужно только переодеться. После этого мы с Мартой уедем в моё имение.

Слуги застыли. Чернышев медленно повернулся ко мне.

— Какое имение?

— Соболевское.

— Оно опечатано Тайной экспедицией.

Мне показалось, что мрамор под ногами качнулся. Я ухватилась за спинку кресла, чтобы не упасть.

— На каком основании?

— Владения вашего покойного мужа, его дяди и связанные с ними земли проверяются. Следствие не окончено.

— Это мой дом. Он принадлежал моей семье до Потоцких.

— И именно поэтому вызывает особый интерес. Ваш отец был обвинён в государственной измене. Муж и его дядя казнены за заговор. Согласитесь, у бумаг вашей семьи опасная привычка попадать не в те руки.

У меня пересохло во рту. Только сейчас я поняла, что на мне нет ничего собственного. Платье дал Чернышев. Плащ купил Чернышев. Карета его. Дом его. Даже помилование,

возможно, было получено благодаря его людям. Моё имя вернули лишь затем, чтобы снова испачкать чужой кровью.

— Тогда я сниму комнаты в гостинице.

— На какие средства?

Пощёчина была бы милосерднее. Я выпрямилась, ощущая, как лицо заливают жар.

— У меня есть драгоценности.

— Они описаны как имущество Потоцких.

— Там были украшения моей матери.

— Докажите это следствию.

Каждое его слово снимало с меня по одному платью, по одной нижней юбке, по одной тонкой сорочке, пока я не осталась перед слугами совершенно нагой — без дома, денег, мужа, имени, защиты. Княгиня Потоцкая, которой принадлежало столько земель, что по ним можно было ехать целый день, не имела монеты, чтобы заплатить за чашку горячего молока.

— Значит, вы всё рассчитали, — прошептала я.

— Что именно?

— Показали мне открытую дверь тюрьмы и терпеливо подождали, пока я сама войду в ваш дом.

— Я спас вам жизнь.

— Нет. Вы купили её у палача и теперь ожидаете благодарности.

Марта встала между нами.

— Катенька, довольно. Ты едва держишься. Александр

Захарович ничего дурного тебе не сделал.

— Пока не сделал, — ответила я, не отрывая глаз от Чернышева. — Но уже объяснил, что без него я нищая.

— Я объяснил положение вещей. Правда иногда унижает сильнее лжи, но это не делает её преступлением.

— А доброта ваша всегда требует залога?

— Только разумности.

— От меня?

— От вас — прежде всего.

Я засмеялась. Смех вышел надорванным, почти безумным. Рёбра тут же пронзило болью, и я согнулась, прижав ладонь к боку. Перед глазами поплыли чёрные круги. Марта подхватила меня, стала причитать, а я продолжала смеяться и плакать одновременно, потому что вся моя жизнь вдруг показалась дурной шуткой, рассказанной Богом после слишком большого количества вина.

Сначала отец запер меня в монастыре, чтобы не видеть лица чужого ребёнка. Потом государство отняло имя и отправило на каторгу. Николай вернул мне титул и потребовал за него тело. Григорий подарил любовь и отнял её, поверив первой же лжи. Чернышев дарил свободу, уже подсчитывая, сколько она будет мне стоить.

Каждый мужчина входил в мою жизнь со словами «я спасу тебя», а затем первым делом искал замок покрепче.

— Отведите её наверх, — приказал Чернышев.

— Не смейте приказывать, что делать со мной!

Я вырвалась из рук Марты и тут же пошатнулась. Чернышев успел поймать меня. Его ладони легли на талию, прижали к твёрдой груди. От мужского запаха — табака, мороза и чего-то терпкого — меня вывернуло до мурашек вдоль позвоночника. На мгновение вместо спокойного лица Чернышева возникло перекошенное лицо Николая. Я увидела хлыст в его руке, ощутила кулак на губах, тяжесть тела, раздвигающего мои колени.

— Не трогайте меня!

Я ударила Чернышева по лицу.

Звук разнёсся по зале сухим выстрелом. Дворецкий опустил глаза. Одна из служанок побледнела. Марта перекрестилась.

Голова Чернышева чуть повернулась от удара. На скуле проступили четыре красные полосы. Он медленно посмотрел на меня. Я ждала ярости, приказа схватить, ответной пощёчины — чего угодно, что позволило бы мне увидеть в нём Николая и возненавидеть без сомнений.

Но он лишь провёл языком по внутренней стороне щеки и крепче обнял меня.

— Закончили?

— Пустите.

— Вы упадёте.

— Лучше разобьюсь о ваш мрамор.

— Не сегодня.

Он поднял меня на руки. От унижения кровь ударила в

лицо так сильно, что зашумело в ушах. Я забилась, ударила его по плечу, попыталась вывернуться, но боль полоснула живот, и из горла вырвался жалкий стон.

— Поставьте меня! Я не вещь! Не раненая собака, которую можно подобрать на улице!

— Раненая собака кусается осмысленнее.

— Ненавижу вас.

— Это уже не отвращение. Мы удивительно быстро продвигаемся.

— Вы чудовище.

— Нет, Екатерина Павловна. Если бы я был чудовищем, вам не пришлось бы гадать о моих намерениях.

Он понёс меня вверх по широкой лестнице. Мои распущенные золотые волосы свешивались с его руки почти до пола, траурная вуаль волочилась по ступеням, словно чёрный язык, слизывающий остатки моей гордости. Слуги расступались. Я чувствовала их взгляды, хотя никто не смел поднять глаз. В эту минуту мне хотелось умереть сильнее, чем под плетью Николая. Там я сопротивлялась врагу. Здесь меня несли как добычу, спасённую и потому уже кому-то принадлежащую.

Голубые покои оказались огромными. Стены затянуты шёлком цвета зимнего неба, над кроватью серебристый балдахин, на комоды фарфоровые пастушки, у окон кресла на тонких золочёных ножках. В камине уже разгорался огонь. На постели лежала новая сорочка, отделанная брюссельским

кружевом, и платье нежно-лавандового цвета. Всё приготовили заранее.

До нашего возвращения.

До казни.

Возможно, ещё до того, как Чернышев пришёл в мою камеру.

Он опустил меня в кресло. Я вцепилась пальцами в подлокотники, глядя на платье.

— Вы знали, что привезёте меня сюда.

— Я надеялся.

— Поэтому приготовили одежду?

— Вам нечего было надеть.

— Вы не сомневались, что я соглашусь бежать.

Чернышев подошёл к окну и отодвинул портьеру. За стеклом белел закрытый двор. Высокая каменная ограда, ворота, двое вооружённых людей возле караульной будки.

— Я не сомневался, что вы захотите жить.

— А если я захочу уйти сейчас?

— Куда?

Это короткое слово вошло под рёбра точнее ножа.

— Не ваше дело.

— Моё. Пока вы находитесь под моей защитой.

— Я не просила защиты.

— Просили, когда надели плащ моего человека и вышли из камеры.

— Я просила спасти меня от казни, а не распоряжаться

моей жизнью.

— Для женщины с вашей способностью попадать в государственные заговоры разница невелика.

Я поднялась. Ноги подрагивали, но я заставила себя пройти к окну. Во дворе меняли караул. Один солдат расправил плащ, второй проверил ружьё. На воротах медленно опускалась тяжёлая железная перекладина.

— Прикажите открыть ворота.

— Нет.

Он произнёс это без угрозы, почти мягко. Оттого слово прозвучало окончательнее приговора.

— Вы удерживаете меня силой?

— Я не позволю вам выйти на улицу избитой, без денег, документов и охраны, когда половина Петербурга уверена, что вы помогали мужу свергнуть государыню.

— Какая трогательная забота.

— Можете называть это пленом, если вам так легче.

— Мне не легче.

— Зато вы живы.

— Николай говорил то же самое. Когда запирали двери.

Впервые спокойствие дрогнуло. Чернышев резко повернулся, и в серых глазах мелькнуло что-то тёмное, собственническое, слишком голодное для простой жалости.

— Никогда не сравнивайте меня с вашим мужем.

— Почему? Он хотя бы честно показывал плеть.

Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Потом

Чернышев приблизился и наклонился так близко, что я почувствовала его дыхание на разбитых губах.

— Отдыхайте, Екатерина Павловна. Плачьте по мужу, если вам угодно. Ненавидьте меня. Бейте посуду. Попытайтесь подкупить слуг. Проверьте каждую дверь. Но за ворота вы не выйдете, пока я не решу, что это безопасно.

— А если я закричу?

— Дом хорошо построен.

— Если выпрыгну из окна?

Он бросил взгляд на заснеженный двор.

— Второй этаж. Скорее сломаете ноги, чем шею. Мне придётся носить вас на руках ещё дольше.

— Вы больной ублюдок.

— Наконец-то честный диагноз.

Он направился к двери. Я схватила с туалетного столика фарфоровую фигурку и швырнула ему вслед. Пастушка разбилась о косяк, осыпав его плечо белыми осколками.

Чернышев остановился, но не обернулся.

— Фарфор саксонский, — заметил он. — Следующую выбирайте подороже. Бедность вам всё равно больше не угрожает.

Дверь закрылась.

Я бросилась следом и дёрнула ручку. Заперто.

Снаружи повернулся ключ.

В груди что-то оборвалось. Я ударила ладонями по двери, закричала, потребовала открыть, звала Марту, потом снова

била — кулаками, плечом, всей собой, пока не разошлись ранки на костяшках и на белой краске не остались кровавые следы.

Никто не ответил.

Я медленно сползла на пол. Пышные юбки окружили меня скомканным траурным облаком, волосы закрыли лицо, из разбитых пальцев капала кровь. Слезы долго не шли, будто и они оказались заперты внутри, но потом меня прорвало. Я зажала рот ладонью, чтобы не дать Чернышеву услышать, и рыдание всё равно вырвалось — уродливое, хриплое, животное. Так плачут не по одному мёртвому мужчине. Так оплакивают всех себя, которыми могли стать и не стали.

Я плакала по Николаю, который любил меня так страшно, что оставил после себя боль даже в смерти. По Грише, не пришедшему за мной. По ребёнку, которым когда-то была, по имени, которое у меня отнимали и возвращали, как ошейник. По свободе, которую я успела почувствовать ровно на один удар сердца — между плахой и запертой дверью.

А потом подняла голову.

На внутренней стороне замка торчала маленькая латунная пластина. Внизу под дверью оставалась щель. На столике лежали шпильки для волос, ножницы, серебряная пилочка и тяжёлый подсвечник.

Я вытерла лицо окровавленной ладонью и посмотрела на свои инструменты.

Каждый мужчина, запиравший меня, совершал одну и ту

же ошибку.

Он принимал мои слёзы за покорность.

Глава 2

Найти и убить.

Эти два слова держали меня на ногах лучше, чем руки Глеба и Волчары, хотя ноги давно превратились в две чужие, отвратительно мягкие тряпки, а мир раскачивался перед глазами, словно палуба корабля в самый лютый шторм. Найти мужчину, который увёз Катю из крепости. Увидеть его лицо. Узнать, куда он прикасался своими руками. А потом убить — медленно, без свидетелей, с тем особенным терпением, каким Господь почему-то обделил меня во всём, кроме ненависти.

— Ещё раз макнёшь меня в эту помойную жижу, я тебя пристрелю, — прохрипел я, когда Волков выдернул мою голову из кадки.

Ледяная вода стекала с волос за ворот, рубаха прилипла к груди, зубы стучали, а в носу стояла вонь тухлого пива, лошадиной мочи и моих собственных внутренностей, которые я оставил возле стены кабака. Меня выворачивало так, будто тело пыталось избавиться не от водки — от Кати, от памяти о её губах, от её голоса, от проклятого имени, разросшегося внутри до размеров опухоли и пустившего корни в каждую кость.

— Чем пристрелишь? — невозмутимо спросил Волчара, удерживая меня за шиворот одной огромной ручищей. —

Шпагу ты проиграл, пистолеты, судя по виду, пропил, а собственным пальцем меня только рассмешишь.

— Не проиграл... одолжил.

— В ломбарде?

— Шлюхе.

Василий прикрыл глаза и тяжело, мучительно вздохнул, словно это он растил меня с младенчества, учил держать ложку, шпагу и член подальше от неприятностей, а теперь вынужден был смотреть, как все труды пошли псу под хвост.

— Шлюхе шпагу одолжил. Ты слышал, Глеб? Наш юный граф вооружает петербургских блядей. Ещё неделя — и они возьмут Зимний дворец.

— Заткнись, — сказал Глеб.

Негромко сказал, почти спокойно, но Волков тут же умолк. Брат стоял напротив меня в безукоризненно застёгнутом мундире, высокий, прямой, чистый до омерзения. Мы были похожи лицами — те же тёмные волосы, широкие скулы, упрямые рты, — но сейчас рядом с ним я казался своим мёртвым, несколько дней пролежавшим в канаве близнецом. Под глазами запеклись чёрные провалы, щетина скрывала половину лица, на камзоле засохло вино, чужая пудра и что-то бурое, происхождение чего я предпочитал не выяснять.

Глеб смотрел на меня долго. Лучше бы ударил. Кулак можно принять, на удар ответить, кровь сплюнуть и гордо поднять голову. Но в его глазах не было ярости — только такое бесконечное, тяжёлое разочарование, что у меня пере-

сохло в горле и вдоль позвоночника прошёл стыд, холоднее воды в кадке.

— Домой, — произнёс он.

— Не поеду.

— Я не спрашивал.

— А я ответил.

Попытался вырваться из рук Волкова, но сапог скользнул в грязи, колени подломились, и я рухнул бы мордой в собственную рвоту, если бы Василий не подхватил меня поперёк живота.

— Отпусти, старая свинья!

— Свинья здесь только одна, Гришенька. И её сейчас понесут мыть.

Он взвалил меня на плечо, как мешок с мукой. Кровь ударила в голову. Двор кабака перевернулся, фонари поплыли вверх ногами, несколько загулявших офицеров у стены заржали, увидев, как прославленного лейтенанта Измайловского полка выносят задницей вперёд.

Я услышал женский смех. Тонкий, пьяный, унижительный.

— Гляньте, девочки, герой наш отбегался!

Во мне что-то лопнуло. Я забился в руках Волкова, заорал, потянулся к несуществующей шпаге, желая перерезать глотки всем, кто видел меня таким. Василий молча перехватил мои ноги. Глеб шёл рядом и даже не обернулся на хохот.

— Отпусти меня! Слышишь?! Я их всех... Я...

— Кого ты убьёшь? — спросил Глеб. — Людей, которые

заметили, что граф Никитин валяется в грязи? Тогда придётся вырезать половину Петербурга.

— Начну с тебя.

— Начни с себя. Эту дуэль ты почти выиграл.

Я замолчал. Слова вошли под рёбра, раздвинули кости и добрались до того места, где ещё продолжало дёргаться изуродованное сердце. Брат был прав. Несколько дней я убивал себя с упорством, достойным лучшего применения, и если бы Глеб опоздал ещё на неделю, ему осталось бы только заказать гроб и объяснить людям, что младший Никитин погиб не на войне, не от вражеской пули, а захлебнулся блевотиной из-за женщины.

Из-за Кати.

Сука.

Моя нежная, золотоволосая, синеглазая сука, которую я готов был укрыть своим именем, домом и телом, а она в очередной раз выбрала чужую карету.

Меня швырнули внутрь экипажа. Я ударился плечом о дверцу и застонал. Глеб сел напротив, Волков рядом со мной, предусмотрительно прижав моё колено своим, чтобы не вздумал выпрыгнуть на ходу. Карета тронулась.

— Где бумага? — спросил брат.

— Какая бумага?

— О помиловании Екатерины Павловны.

Я дёрнулся, будто он ударил меня по лицу.

— Не произноси её имя.

— Где бумага, Григорий?

— Сожрал.

— Тогда я вспорю тебе живот и достану.

Мы сцепились взглядами. Глеб не шутил. Он никогда не шутил, когда говорил таким тихим голосом.

Я сунул руку за пазуху. Пальцы нащупали измятый лист, мокрый от воды, пота и дождя. Печать государыни треснула, чернила расплылись, на нижнем краю бурело пятно крови — я разбил кулаки о стену камеры, когда понял, что Катя ушла за несколько часов до моего приезда.

Развернул бумагу. Буквы поплыли перед глазами.

«...освободить немедленно... признать непричастной...
возвратить права...»

Я достал для неё свободу. Принёс в крепость, прижимая к сердцу, как мальчишка букет для первой возлюбленной. Представлял, как откроется дверь, как она увидит меня, как заплачет и бросится в объятия. Я бы завернул её в плащ, увёз в Покровское и больше никому не позволил приблизиться. Даже дышать в её сторону не позволил бы.

Но на койке лежал чахоточный мужик, а моя Катя ушла с другим.

— Она знала, что я приду, — проговорил я, сминая лист.

— Не могла не знать. Весь город говорил, что я за неё просил. Она не дождалась нескольких часов.

— Она сидела в тюрьме по обвинению в заговоре, — ответил Глеб. — Избитая мужем почти до смерти. Возможно,

ей сказали, что казнь назначена и для неё.

— И она поверила первому ублюдку, поманившему ключом?

— Тебе она тоже однажды поверила.

— Я спас её!

— А потом поверил письму, написанному под угрозой, и оставил одну.

Я бросился на брата. Волков успел обхватить меня сзади, но кулак всё-таки задел Глеба по скуле. Он даже головы не повернул. Только медленно провёл большим пальцем по разбитой губе и посмотрел на кровь.

— Полегчало?

— Нет.

— Ударь ещё.

— Не ищущай.

— Бей. Может, когда сломаешь мне челюсть, наконец услышишь правду. Ты не Катю ненавидишь. Ты ненавидишь себя за то, что снова не успел.

Я застыл. Волков ослабил хватку, но не отпустил.

Перед глазами возникла мать. Разорванное платье, кровь на бёдрах, открытые глаза. Я опоздал к ней, хотя был рядом, спрятанный в лесу. Не смог защитить, не смог спасти, не смог даже закричать. Потом опоздал к Кате: на корабле едва не отдал конвоирам, в имении оставил одну с Потоцким, в крепость приехал после того, как её увезли.

Вечно живой на несколько часов позже тех, кого любил.

— Заткнись, — прошептал я.

— Нет. Хватит беречь твоё бешенство, как семейную реликвию. Ты пьёшь не потому, что она ушла с мужчиной. Ты боишься узнать, что её увезли силой, а ты в это время обнимал шлюху.

Я почувствовал на шее запах дешёвых духов той девицы. Сладкий, приторный. Она сидела у меня на коленях, тёрлась грудью, лезла языком в рот. Я гладил её зад, называл Катей и не мог возбудиться. Тогда велел привести вторую, рыжую. Потом третью — светловолосую, худую, с голубыми глазами. Поставил на колени, схватил за волосы и, увидев страх, оттолкнул так сильно, что она ударилась о стол.

Потому что Катя тоже боялась меня.

Потому что я хотел найти её, прижать к стене и требовать правду, сжимая горло, пока не посинеют губы.

Потому что ничем не лучше Потоцкого.

Меня согнуло пополам. Я зажал рот, но рвота хлынула между пальцами на пол кареты. Волков выругался и отодвинул сапоги. Глеб не пошевелился. Я стоял на коленях перед братом, извергая из себя водку, желчь и остатки достоинства. Слезы текли из глаз сами, смешивались с потом. Я уже не знал, плачу от боли или от мерзости к самому себе.

— Лучше бы ты дал мне сдохнуть, — прохрипел я.

Глеб наклонился, взял меня за затылок и заставил поднять голову.

— Ты мой брат. Я не позволю тебе сдохнуть даже назло

тебе самому.

— Она его выбрала.

— Докажи.

— Что?

— Что выбрала. Не придумай. Не выбей признание из первого встречного. Узнай.

Карета остановилась возле нашего дома. Волков открыл дверцу и поморщился.

— Прежде чем узнавать, неплохо бы отмыть его от любви. Она у него по всему камзолу размазана.

На этот раз я не сопротивлялся.

Меня раздели в банной комнате. Слуга Пахом отводил глаза, стаскивая с меня мокрую рубаху. На груди и шее багровели засосы, оставленные неизвестно кем. На плече отпечатались следы женских ногтей. Я смотрел на себя в большое венецианское зеркало и не узнавал мужчину напротив. Где офицер, которого царица называла дерзким мальчишкой? Где моряк, способный провести корабль сквозь шторм? Где человек, которому Катя шептала «Гриша мой»?

В зеркале стояла опухшая, вонючая скотина с налитыми кровью глазами.

— Нож, — приказал я.

Пахом побледнел.

— Ваше сиятельство...

— Бритву дай, идиот. Не зарежусь. Не доставлю брату удовольствия всю жизнь рассказывать, что спас меня напрасно.

Слуга подал опасную бритву. Руки дрожали так сильно, что первый же проход оставил на щеке порез. Кровь скользнула к подбородку. Я провёл лезвием снова, снимая щетину вместе с тонкой полоской кожи. Хотелось содрать лицо целиком — то самое, которое она когда-то держала ладонями и называла красивым.

Вошёл Глеб, уже переодетый в домашний тёмно-зелёный камзол. В руках у него был поднос с кувшином воды, хлебом и миской горячего бульона.

— Поешь.

— Не смогу.

— Значит, вырвет и поешь снова.

— Из тебя вышел бы превосходный тюремщик.

— А из тебя — отвратительный узник. Садись.

Я опустил на табурет. Он взял бритву из моих пальцев.

— Сам могу.

— Вижу. Ещё немного — и тебя не узнает даже родная мать.

Слова повисли между нами. Глеб замер, осознав, что сказал. Потом осторожно провёл лезвием по моей щеке. Мы молчали. Старший брат брил младшего, как когда-то в кадетском корпусе, когда у меня впервые пробился смешной пух над губой и я рассёк подбородок, пытаясь избавиться от него тайком.

— Я нашёл того тюремщика, — произнёс Глеб.

Сердце ударилось о рёбра.

— Какого?

— Которого подменил чахоточный. Настоящий конвоир обнаружился в трактире у Нарвских ворот. С новым кафтаном, новой лошастью и мешком серебра.

Я вскочил. Лезвие скользнуло по шее, оставив горячий порез.

— Где он?

— Внизу.

— Ты привёз его сюда?

— Добровольно не хотел.

Я впервые за несколько дней улыбнулся. Судя по лицу Глеба, улыбка вышла страшной.

Конвоира держали в подвале, где прежде хранились вина. Мужчина сидел привязанный к стулу между пустыми бочками. На нём был действительно новый коричневый кафтан, но одна пола оторвана, нос разбит, а левый глаз заплыл. Волков стоял рядом и с увлечением протирал тряпичей рукоять пистолета.

— Гляди, ожил наш покойник, — сказал он, увидев меня.

— И почти не пахнет.

Конвоир поднял голову. Узнал. Я видел его возле камеры, когда приехал с помилованием. Он тогда прятал глаза и делал вид, будто не понимает, куда исчезла княгиня.

— Ваше сиятельство, я уже всё рассказал! — затараторил он. — Я не знал, кто тот господин. Клянусь детьми!

— Детьми не клянись. Они не виноваты, что отец продаёт

заклѹчѣнныхъ.

— Я никого не продавал! Княгиня сама согласилась. Сама надела плащ и вышла. Никто её не тащил.

Внутри болезненно дѣрнулось.

— Боялась?

— Что?

Я схватил его за волосы и запрокинул голову.

— Она. Боялась того человека?

— Не знаю. Сначала отказалась. Кричала на него, говорила, что не станет любовницей...

Мир сузился до его рта.

— Что он ответил?

— Не помню.

Я ударил его лицом о спинку стула. Хрустнул нос. Кровь брызнула на мой белый рукав.

— Теперь вспоминай.

— Сказал... сказал, что Никитин собирается жениться на другой! На Завадской! Что княгиню будут пытать, если останется. Он обещал защиту. Она долго не соглашалась, потом спросила, может ли взять кормилицу... Господи, не бейте!

Я отпустил его. Пальцы онемели.

Он солгал ей обо мне.

Катя не ушла к любовнику. Она уходила от дыбы, от клещей, от клейма. Уходила, поверив, что я выбрал другую.

А я назвал её потаскухой и пропил три дня.

— Как выглядел мужчина? Каждая мелочь.

— Невысокий, крепкий. Лет тридцать пять. Светло-серые глаза, тёмные волосы. Одет богато, но без лишней мишуры. Перстень с чёрным камнем. Его человек назвал господина Александром Захаровичем.

Глеб, стоявший за моей спиной, тихо выругался.

Я обернулся.

— Знаешь его?

Брат смотрел на меня так, словно имя, которое собирался произнести, могло развязать новую войну.

— Если описание верно, это граф Александр Чернышев. Дипломат. Вхож в дома, куда нас с тобой не пустят даже через чёрный ход. У него люди при дворе, в Тайной экспедиции и за границей.

— Значит, придётся войти через окно.

— Гриша, это не Потоцкий. Чернышев не полезет на тебя со шпагой. Он уничтожит твою карьеру, имя и всех, кто тебе помогает, прежде чем ты приблизишься к его воротам.

Я посмотрел на кровь конвоира, забрызгавшую рукав. Потом достал из кармана измятое помилование Кати, разгладил его на крышке бочки и провёл пальцами по треснувшей печати.

Несколько часов. Она не дождалась меня всего несколько часов.

Но теперь я знал, кто украл их у нас.

— Пусть уничтожает, — сказал я, и собственный голос прозвучал спокойно, почти ласково. — Только сначала я за-

беру мою женщину.

— Твою? — переспросил Глеб, и одно это слово заставило меня повернуть голову. — Ты уверен, что после всего имеешь право так её называть?

Я шагнул к нему. Брат не отступил. Между нами осталось расстояние одного удара, одного вдоха, одной правды, которую мне не хотелось слышать.

— Она сама назвала себя моей.

— До того, как ты поверил Потоцкому. До того, как оставил её в доме, где над ней издевались. До того, как она сидела в камере, а ты развлекался с продажными девками.

Каждое «до того» било сильнее кулака. Я мог бы разбить ему лицо, но тогда слова остались бы во мне навсегда, вонзённые в мясо обломками зубов. Поэтому я заставил руки разжаться.

— Чего ты хочешь?

— Чтобы ты нашёл её не как хозяин, потерявший вещь. Найди как мужчина, который задолжал ей правду.

— Я ничего ей не должен.

Ложь обожгла язык.

Я должен был ей свободу, которую принёс слишком поздно. Должен был доверие, которое отнял при первой возможности. Должен был каждую ночь, проведённую ею рядом с Потоцким, каждый удар, каждый синяк, каждый раз, когда она ждала меня и убеждала себя, что не дождётся.

— Конечно, — холодно произнёс Глеб. — Это она должна

тебе: за шлюх, водку и кровь на рубaxe.

Я схватил его за ворот, но вместо удара прижался лбом к его лбу. Меня трясло. Брат держался неподвижно, позволяя мне висеть на нём, как когда-то в детстве, когда после похорон я просыпался от крика и бежал в его постель.

— Если он коснулся её... — Голос сорвался, и от этого унижения в горле стало тесно. — Если она позволила ему... Я не знаю, что сделаю, Глеб. Я хочу быть благородным, хочу помнить, через что она прошла, но как представляю его руки на ней, меня выворачивает. Внутри словно крюками цепляют кишки и медленно вытягивают через рот.

— Тогда не представляй. Найди и спроси.

— А если ответ меня убьёт?

— Значит, хоть раз умрёшь от правды, а не от собственных выдумок.

Я отпустил брата. Конвоир смотрел на нас, приоткрыв окровавленный рот. Мне внезапно стало мерзко от того, что этот человек увидел больше моей души, чем многие близкие.

— Развяжите его, — приказал я.

— Что? — удивился Волков.

— Я получил всё, что хотел. Пусть уходит.

Конвоир вскинул голову, не веря услышанному.

— Благодарю, ваше сиятельство! Век буду молиться...

— Не торопись. Деньги вернёшь. Из крепости уволишься. Семью вывезешь из Петербурга до рассвета. Если Чернышев узнает, что ты говорил, тебе вырежут язык. Если соврёшь

хоть в одном слове, я найду тебя даже на дне ада и заставлю пожалеть, что черти добрались первыми.

— Всё сделаю. Клянусь!

Волков перерезал верёвки. Мужчина рухнул на колени, попытался поцеловать мой сапог. Я отдёрнул ногу. Ещё несколько дней назад мне бы понравилось видеть его унижение. Сейчас собственное всё ещё стояло во рту вкусом желчи.

Сверху, из жилых комнат, донёсся бой часов. Полночь. Я поднял глаза на Глеба.

— Найди мне план дома Чернышева.

— Зачем?

— Хочу узнать, через какое окно войду.

Глава 3

Кровь на двери высохла раньше моих слёз.

Она потемнела, превратилась в четыре бурых мазка на белой краске, и теперь казалось, будто кто-то изнутри комнаты пытался выбраться наружу, содрал о дерево пальцы, но умер прежде, чем сумел докричаться. Я сидела на полу, прижав разбитые руки к груди, и смотрела на эти следы до тех пор, пока они не начали складываться в буквы.

Гриша.

Я зажмурилась. Имя всё равно осталось перед глазами — выжженное на внутренней стороне век, впаянное в кости, растёртое вместе с кровью по всему моему телу. Он не пришёл. Я повторяла это себе с той жестокостью, с какой палач примеривается к шее осуждённого, прежде чем опустить топор. Не пришёл в тюрьму, не нашёл после побега, не вырвал из чужих рук, как обещал когда-то, прижимая меня к своей груди.

Но он мог не знать.

Эта мысль была тонкой, жалкой ниткой, и я ухватилась за неё окровавленными пальцами, потому что падать больше было некуда.

Поднялась, пошатываясь, и вернулась к двери. Замок был французским, сложным, с гладкой латунной накладкой и узкой скважиной. Я выбрала самую длинную шпильку, разо-

гнула её и просунула внутрь. Металл царапнул металл. Где-то глубоко тихо щёлкнуло.

Сердце рванулось к горлу.

— Ну же, — прошептала я, поворачивая шпильку. — Не упрямясь. Сегодня уже достаточно упрямых мужчин.

Замок не оценил шутки. Шпилька согнулась, впилась в подушечку пальца и сломалась. Я выдернула руку, зашипев от боли. Свежая капля крови упала на кружево рукава, подаренного Чернышевым.

Даже моя кровь теперь пачкала его вещи.

Я схватила серебряную пилочку, попыталась просунуть между дверью и косяком, но она оказалась слишком толстой. Тогда взяла ножницы. Остриё вошло в щель, я надавила, всем телом навалилась на рукоятки. Боль отозвалась в рёбрах, вспорола живот, потемнело перед глазами, но я продолжала давить, пока ножницы не выскользнули и не рассекли ладонь.

Кровь хлынула сразу — яркая, тёплая, живая.

Я смотрела, как она наполняет линии на ладони, и внезапно вспомнила руку Николая на эшафоте. Перстень, сломанный ноготь, белые пальцы, которые ещё вчера сжимали мои волосы и били по лицу.

Ножницы выпали.

Меня вырвало прямо на дорогой голубой ковёр.

Я стояла на коленях, захлёбываясь, прижимая окровавленную ладонь к животу, и ненавидела Чернышева за то, что

он не видел меня в эту минуту. Ненавидела ещё сильнее за желание, чтобы он увидел. Чтобы понял: вот чего стоило его спасение, вот какую женщину он вытащил из камеры — поломанную, грязную, блюющую на его шёлк и мрамор.

В замке повернулся ключ.

Я едва успела схватить подсвечник.

Дверь приоткрылась, и я замахнулась, целясь в голову вошедшему.

— Катя!

Подсвечник остановился в вершке от лица Марты. Она отшатнулась и прижала обе руки к груди. За её спиной стояли две служанки и незнакомый пожилой мужчина с кожаным саквояжем.

— Господи Иисусе, ты меня на тот свет отправить решила?

Я выронила подсвечник и бросилась к ней. Марта обняла меня, но я вскрикнула: её руки легли на избитую спину. Она тут же ослабила объятия, стала целовать волосы, лоб, виски, шептать что-то бессвязное, материнское, и от этой нежности меня раздробило окончательно. Я уткнулась ей в плечо и зарыдала так, что заболели челюсти, заломило затылок, а из груди вырывались звуки, похожие на хрип умирающего животного.

— Он запер меня, — повторяла я. — Слышишь, Марта? Снова заперли. Я ничего не сделала, а меня снова заперли.

— Тише, дитя моё, тише. Ты вся в крови. Что с рукой? Да

что здесь произошло?

— Пыталась выйти.

Марта посмотрела на ножницы, погнутую шпильку, разбитую фарфоровую фигурку и следы на двери. Её лицо осунулось.

— Через запертую дверь?

— Других мне не оставили.

— Позвольте осмотреть рану, сударыня, — вмешался мужчина с саквояжем.

— Кто вы?

— Доктор Шиллинг. Граф Чернышев пригласил меня позаботиться о вашем здоровье.

— Моё здоровье пережило мужа, тюрьму и казнь. Переживёт отсутствие вашей заботы.

Он не оскорбился. Врачи, видимо, привыкли, что люди встречают их особенно нелюбезно, когда боятся услышать правду о собственном теле.

— В таком случае позвольте хотя бы остановить кровь. Иначе переживать скоро будет нечему.

— Как остроумно.

— Приходится соответствовать пациентке.

Я протянула руку. Доктор промыл порез вином, и ладонь обожгло так, что вдоль позвоночника прокатились судороги. Я стиснула зубы, не желая стонать перед слугами Чернышева. Мужчина перевязал руку, затем попросил снять платье.

— Нет.

— Мне необходимо осмотреть повреждения.

— Повреждения находятся под одеждой именно потому, что я не желаю их показывать.

Доктор вздохнул и посмотрел на Марту.

— Сударыня, князь бил вас по животу и рёбрам. Возможны внутренние разрывы. Если я не осматрю...

— Тогда я умру, — оборвала я. — В этом доме хотя бы одна дверь для меня откроется.

Марта побледнела.

— Не говори так! Снимай платье. Я выгоню девок и помогу.

— Граф приказал нам остаться, — сказала одна из служанок.

Я медленно повернула к ней голову.

— Что?

Девушка была совсем юной, пухленькой, с бледным круглым лицом. Она опустила глаза, но повторила:

— Александр Захарович приказали не оставлять вас одну и не выносить из комнаты острых предметов.

Во мне поднялась такая ярость, что на мгновение исчезла боль. Я приблизилась к ней, и девица попятилась.

— Передай своему хозяину: если он хочет увидеть моё голое избитое тело, пусть приходит сам. Может встать рядом с доктором, взять свечу и полюбоваться, сколько цветов оставил на мне предыдущий спаситель.

— Катя! — прошептала Марта.

— Что? Разве не для этого меня здесь держат? Мужчины любят рассматривать последствия чужой жестокости. Она позволяет им чувствовать себя добрыми.

Служанка покраснела до корней волос. Доктор Шиллинг отвернулся к окну.

— Выйдите, — приказал он девушкам. — Пациентка находится под моей ответственностью.

— Но граф...

— Если граф желает сам лечить внутреннее кровотечение, пусть пришлёт мне письменное распоряжение. Я сохраню его для суда.

Служанки переглянулись и вышли. Ключ повернулся снаружи.

Даже врачу доверяли больше, чем мне.

Марта растегнула платье. Ткань прилипла к ранам на спине, и, когда она потянула её вниз, кожу будто содрали второй раз. Я закусила губу. Слёзы выступили мгновенно, крупные, горячие, но я не позволила себе закричать.

Когда сорочка упала к ногам, доктор перестал быть саркастичным.

Его лицо стало каменным.

Я посмотрела в зеркало и увидела себя целиком. На белой коже расползались багровые и синие пятна, некоторые уже пожелтели по краям, другие оставались почти чёрными. Следы плети пересекали спину от плеча до поясницы. На животе темнел отпечаток сапога. Груды покрывали багровые от-

метины пальцев Николая.

Я не была женщиной. Я была картой его безумия, нарисованной кровью.

— Довольно, — сказала я, заметив выражение лица Марты.

Она закрыла рот ладонью, но рыдание всё равно прорвалось между пальцами.

— Он... он тебя так... А я не была рядом... Девочка моя...

— Не смей плакать.

— Как же мне не плакать?

— Тогда придётся признать, что он победил.

Я говорила гордо, но тело дрожало. Доктор осторожно коснулся рёбер, и я вскрикнула, вцепившись в край туалетного столика.

— Переломов нет, — произнёс он. — Но два ребра, возможно, треснули. Вам нужен покой. Никакой верховой езды, резких движений и попыток взламывать двери.

— Последнее — врачебный совет или приказ Чернышева?

— Здравый смысл.

— Самый ненавистный из моих тюремщиков.

Доктор обработал раны. Я стояла перед чужим мужчиной почти нагая и чувствовала, как с каждым прикосновением от меня отрывают ещё один кусок достоинства. Он был почителен, не позволял взгляду задерживаться, но унижение

не зависело от его намерений. Моё тело перестало принадлежать мне ещё в доме Потоцких. Его били, осматривали, перевязывали, переносили с места на место. Теперь о нём докладывали Чернышеву.

— Вы расскажете графу всё, что увидели? — спросила я.
Доктор замер.

— Я обязан сообщить о вашем состоянии.

— Опишите особенно подробно следы на груди. Вдруг он захочет сравнить размер своих рук с руками покойного.

— Екатерина Павловна...

— Уходите.

Когда доктор закончил и служанки принесли чистую сорочку, я позволила Марте одеть себя. Новое платье оказалось лавандовым, с серебряной вышивкой на узком лифе и широкими рукавами, отделанными кружевом. Оно сидело идеально.

Чернышев знал мой рост, объём груди, талию. Приказал сшить или переделать наряд ещё до побега.

От этой мысли под корсетом стало нечем дышать.

— Он приготовил всё заранее, — сказала я.

Марта затянула шнуровку и отвела глаза.

— Может, просто распорядительный человек.

— Палач тоже заранее точит топор. Назовём его заботливым?

— Чернышев спас тебя.

— Почему ты защищаешь его?

— Потому что боюсь! — неожиданно вскрикнула Марта.

— Боюсь, что ты снова бросишься на стены, разобьёшь голову, вспорешь себе вены или разозлишь единственного человека, который сейчас может удержать тебя на свободе!

— На свободе? Посмотри на дверь.

— А ты посмотри, откуда он тебя вытащил!

Мы замолчали. Её слова ударили сильнее, потому что были правдой. Чернышев спас меня от крепости. И этой правдой он мог душить меня столько, сколько пожелает.

Я обняла Марту.

— Прости. Я не стану делать глупостей. Но мне нужно передать письмо Грише.

Она напряглась.

— Катя...

— Он должен знать, что я не выбирала Чернышева. Что я ждала его. Что если он не хочет больше меня видеть, я приму это, но не вынесу, если он считает меня продажной тварью, которая переходит от одного мужчины к другому.

— Как ты отправишь письмо?

Я посмотрела на молодую служанку. Ту самую, что покраснела от моих слов. Она стояла возле камина и делала вид, будто поправляет поленья.

— Найду способ.

Писала я ночью. Чернила дрожали на кончике пера, расплывались там, куда падали слёзы. Я рассказала Грише всё: о камере, Чернышеве, страхе перед пытками, слухах о Завад-

ской. Написала, что не являюсь любовницей графа и никогда ею не стану. Что Николай умер, а вместе с ним умерла моя обязанность носить чужое имя.

Дольше всего смотрела на последние строки.

«Я не прошу Вас спасти меня. Не прошу простить. Только поверьте: с того дня на корабле моё сердце ни разу не принадлежало другому. Если я должна остаться в этой клетке, мне будет легче знать, что где-то на свободе живёт человек, которого я люблю. Гриша мой, я всё ещё Ваша. Даже если Вы больше не мой».

Я прижала письмо к губам, оставив на бумаге слабый след крови.

Утром подозвала служанку. Её звали Лизой. Я сняла с уха маленькую жемчужную серьгу — единственную вещь, которую не отобрали после тюрьмы, — и вложила в её ладонь вместе с письмом.

— Найди графа Григория Никитина. Передай лично. Не слуге, не брату, только ему.

— Если Александр Захарович узнают...

— Продашь серьгу и уедешь. Её хватит, чтобы начать новую жизнь.

Девушка долго смотрела на жемчужину, затем спрятала письмо за корсаж.

— Я передам.

Она вышла.

Весь день я ждала, прислушиваясь к шагам. Каждый звук

в коридоре заставлял сердце биться о рёбра. Я представляла, как Гриша разворачивает лист, видит размытую слезами подпись, касается пятна от моих губ. Может быть, он уже скачет сюда. Может быть, через час внизу зазвонят шпаги, раздастся его яростный голос и ни одна дверь не удержит мужчину, однажды поклявшегося сделать меня своей женой.

К вечеру дверь открылась.

На пороге стоял Чернышев.

В одной руке он держал мою жемчужную серьгу. В другой — распечатанное письмо.

За его спиной плакала Лиза. На её щеке багровел след от удара.

У меня внутри всё рухнуло.

— Выйдите, — приказал граф.

Служанка бросила на меня умоляющий взгляд и исчезла. Чернышев закрыл дверь, но на этот раз не запер. Прошёл к камину и медленно развернул письмо.

— «Гриша мой, я всё ещё Ваша», — прочитал он вслух. — Не слишком сдержанное обращение для женщины, которая вчера стала вдовой.

Я бросилась к нему, но он поднял руку, удерживая лист выше моей головы. Боль пронзила рёбра, я задохнулась и остановилась.

— Что вы сделали с Лизой?

— Ничего непоправимого.

— У неё кровь на лице.

— Она получила пощёчину от экономки за нарушение приказа.

— По вашему приказу.

— По правилам моего дома.

— Ваш дом похож на казарму, а вы — на трусливого коменданта, который бьёт девок чужими руками.

Он сложил письмо вдвое, разгладил сгиб большим пальцем. Спокойно, мучительно неспешно, словно мои слова были не признанием, вырванным вместе с мясом, а дипломатической запиской, которую следовало аккуратно подшить к делу.

— Я предупреждал, что вы можете бить посуду и подкупать слуг. Вы решили проверить границы дозволенного. Теперь знаете, где они проходят.

— На щеке невинной девушки?

— На её выборе. Она знала о последствиях.

— Я заставила её.

— Нет. Вы купили её серьгой. Не отнимайте у людей ответственность только потому, что тогда вам придётся увидеть собственную.

Меня словно раздели перед толпой второй раз. Лиза рискнула местом, добрым именем, возможно свободой, потому что я поманила её жемчужиной, как Чернышев поманил меня открытой дверью камеры. Я использовала её отчаяние точно так же, как мужчины использовали моё.

— Отпустите её, — сказала я.

— Она уже уволена.

— В зиму? Без рекомендации? Вы обрекаете её на голод или публичный дом.

— Не драматизируйте.

— Для вас женский позор всегда драма, пока не становится способом получить желаемое.

Чернышев посмотрел на меня поверх письма.

— Чего вы хотите?

— Верните ей место.

— А взамен?

Я горько усмехнулась.

— Вот мы и добрались до настоящего Александра Захаровича. Вы даже милосердие не умеете дарить — только мстить.

— Бесплатные дары обычно оказываются самыми дорогими. Вы должны были это усвоить после Потоцкого.

— Я сяду с вами за ужин. Буду улыбаться. Поблагодарю за спасение перед всеми вашими гостями. Только оставьте Лизу.

— Вы предлагаете мне один вечер притворства за неповиновение служанки?

— Другого у меня ничего нет. Вы сами постарались.

Он приблизился. Кончиками пальцев поднял мой подбородок, заставляя смотреть в глаза. Я замерла, хотя внутри всё стянулось ледяной проволокой, а по спине прошла болезненная рябь. Его прикосновение было лёгким, но в нём

ощущалась власть человека, который уже держал мои деньги, кров, свободу и теперь проверял, насколько низко я готова наклониться ради чужой щеки.

— Попросите как следует.

Стыд обжёг лицо.

— Прошу вас.

— Не услышал.

Я стиснула зубы так, что заломило челюсть.

— Пожалуйста, Александр Захарович. Не выгоняйте Лизу из-за меня.

— Уже лучше.

Он отпустил мой подбородок. Я почувствовала себя так, словно встала перед ним на колени, хотя продолжала стоять прямо.

— Она останется. Но отныне ни один слуга не примет от вас даже записки с заказом на новые ленты. Вы купили её преданность один раз. Я только что купил обратно.

— Вы гордитесь тем, что богаче пленницы?

— Нет. Тем, что честнее неё.

Я подняла руку, чтобы ударить, но он перехватил запястье. Пальцы сомкнулись поверх ожога, оставленного Николаем, и боль прострелила до плеча.

— Отдайте письмо, — повторила я уже тише.

— Отдайте.

— Вы обещали покой доктору.

— Это моё письмо.

— Написанное в моём доме, моими чернилами, переданное моей служанке.

— Моё сердце тоже принадлежит вам, потому что бьётся под вашим кровом?

Серые глаза сузились.

— Нет. Но вы слишком щедро раздаёте его мужчинам, которые оставляют вас в тюрьме.

Пощёчина обожгла не хуже руки. Я шагнула ближе.

— Он не знал.

— Вы всегда находите оправдания тем, кто причиняет вам боль. Потоцкого простили перед казнью. Никитина оправдываете, хотя он не явился. Когда наступит моя очередь?

— Сразу после вашей смерти.

Чернышев улыбнулся, но пальцы, державшие письмо, побелели.

— Прекрасные строки. Особенно о том, что вы всё ещё его. Боюсь, Григорий Сергеевич их не прочтёт.

Он поднёс край письма к пламени свечи.

— Нет!

Бумага вспыхнула. Я схватила его за запястье, обожгла пальцы, попыталась вырвать лист, но Чернышев удержал. Огонь пожирал мои слова, почерк, слёзы, отпечаток губ. Пепел осыпался между нами чёрным снегом.

— Ненавижу вас, — прошептала я.

— Знаю.

— Я никогда вам не прощу.

— Переживу.

Последний клочок бумаги почернел и упал в камин. Там исчезло моё «люблю», сжалось, свернулось в огне и превратилось в ничто.

Чернышев отпустил мою руку и подошёл к письменному столу. Положил передо мной чистый лист, поправил чернильницу и протянул перо.

— А теперь, Екатерина Павловна, мы напишем графу Никитину другое письмо.

Глава 4

Дом Чернышева оказался крепостью, наряженной дворцом.

Я разложил на столе план, добытый Глебом через архитектора, и уже третий час изучал каждую дверь, окно, лестницу, служебный коридор и проклятую каморку для метёл, будто собирался не выкрасть одну женщину, а взять штурмом Константинополь. За окнами медленно светало. Петербург выплывал из ночи серым, промёрзшим трупом; снег лежал на карнизах, Нева дышала тяжёлым туманом, а свечи в кабинете оплыли до самых подсвечников, наполнив воздух запахом горелого воска.

Я не спал.

Стоило закрыть глаза, видел Катю рядом с Чернышевым. Он распускает её золотые волосы, снимает платье, рассматривает синяки, оставленные другим мужчиной. Она сначала отворачивается, потом позволяет. Благодарит за спасение. Прижимается губами к его руке.

От этих картин ломило кости, будто кто-то засунул под кожу железные прутья и медленно выкручивал их вместе с сухожилиями. Я проходил по комнате, возвращался к плану, снова вставал. В горле пересыхало. Хотелось пить, но один вид графина с вином вызывал тошноту и воспоминание о том, как брат вытирал с моего лица рвоту.

Больше ни капли.

Пока не увижу её.

Потом, возможно, напьюсь так, чтобы забыть ответ.

— Южная стена, — сказал Глеб, проводя пальцем по чертежу. — Здесь сад, затем узкий проезд для хозяйственных повозок. Караул меняется в полночь и на рассвете.

— Откуда знаешь?

— В отличие от тебя, я вчера занимался делом, а не своей печенью.

Он сидел напротив в светлой полотняной рубашке и домашнем камзоле без шитья, но даже после бессонной ночи выглядел так, словно только что вышел к строю. Волков развалился в кресле у камина, положив тяжёлые сапоги на маленькую скамеечку. Скамеечка жалобно скрипела, но держалась — видимо, обладала большим мужеством, чем многие люди.

— Подкупил караульного? — спросил я.

— Поговорил с поставщиком мяса. Он приезжает каждое утро. По его словам, в доме последние дни удвоена охрана.

— Значит, она там.

— Или Чернышев хочет, чтобы ты так решил.

— Опять начинаешь?

Глеб поднял на меня тёмные глаза.

— Я ещё не закончил начинать. Мы не знаем, зачем она ему. Не знаем, добровольно ли остаётся. Не знаем, не устроена ли тебе ловушка.

— Узнаем сегодня ночью.

— Мы никуда сегодня не идём.

Я медленно выпрямился.

— Повтори.

— У тебя служба. Ты не появлялся в полку несколько дней. Орлов уже спрашивал, где тебя носят черти. Если сегодня не явишься, тебя арестуют раньше, чем ты доберёшься до ограды Чернышева.

— Пусть попробуют.

— Обязательно попробуют. Ты дашь им повод, которого только и ждут. Помилованная вдова государственного изменника исчезла, влюблённый в неё офицер врывается в дом дипломата — прекрасное начало нового дела Тайной экспедиции.

— Тогда я приду без мундира.

— Твой характер узнают и голым.

Волков хмыкнул, не открывая глаз.

— Голым его узнают ещё быстрее. Он половине Петербурга представлялся именно в таком виде.

Я швырнул в него перчатку. Василий поймал её у лица и лениво сунул за пазуху.

— Спасибо. Как раз левую потерял.

— Я заберу её, — сказал я Глебу. — Сегодня. Не хочешь помогать — не мешай.

— Это не спасение, Гриша. Ты собираешься украсть женщину, даже не спросив, хочет ли она уходить.

— Хочет.

— Откуда такая уверенность?

— Она любит меня.

Слова прозвучали громко, почти вызывающе. Я сказал их брату, Волкову, пустой комнате, Петербургу за окном — и больше всего самому себе.

Она любит меня.

Любила на корабле, когда лежала подо мной, дрожа и задыхаясь. Любила в имении, когда спрятала раненого, кормила с ложки, касалась губами шрамов. Любила, когда согласилась стать женой.

Любила, когда написала прощальное письмо по приказу Потоцкого.

Значит, могла написать ещё одно.

В дверь постучали.

Пахом вошёл, держа на серебряном подносе небольшой конверт.

— Ваше сиятельство, посыльный доставил.

Я посмотрел на бумагу, и сердце на мгновение остановилось. На воске не было герба — только отпечаток маленькой веточки или цветка. Почерк на конверте принадлежал ей. Я узнал бы эти тонкие, чуть наклонённые буквы среди тысячи других, как узнавал золото её волос в толпе.

«Его сиятельству графу Григорию Сергеевичу Никитину».

Мои пальцы задрожали.

— Кто принёс?

— Молодой человек в сером плаще. Ждать ответа отказался.

Я схватил письмо. Оно пахло дымом, лавандой и чем-то знакомым, едва уловимым. Ею. Я поднёс конверт к лицу, втянул запах так жадно, что Глеб отвёл глаза, будто увидел нечто слишком личное.

— Открой, — сказал он.

— Сам знаю.

Сломал печать. Внутри лежал сложенный вчетверо лист и засушенный лепесток белой розы. Такие цвели у неё в поместье возле озера. Я помнил, как Катя стояла под кустом в ночной сорочке, а белые лепестки цеплялись за золотые волосы.

У меня сдавило грудь.

«Григорий Сергеевич...»

Не «Гриша мой».

Уже первая строка резанула.

Я начал читать.

«Я знаю, что Вы приезжали в крепость после моего исчезновения, и потому считаю необходимым объяснить свой поступок. Я ушла добровольно. Александр Захарович предложил мне защиту в минуту, когда я не могла рассчитывать ни на кого другого, и я приняла её».

Буквы качнулись. Я моргнул, провёл ладонью по лицу и продолжил.

«Не ищите в этом принуждения. Я достаточно пережила, чтобы отличить угрозу от доброго отношения. В доме графа Чернышева я нахожусь по собственной воле и прошу Вас не предпринимать попыток увидеться со мной».

Кто-то внутри меня медленно, с наслаждением вонзил нож между рёбер и повернул.

— Что там? — спросил Волков.

Я не ответил.

«То, что произошло между нами, было ошибкой двух людей, ослеплённых страстью и опасностью. На корабле я нуждалась в помощи и позволила Вам поверить в чувство, которого сама не понимала. В моём имении я была напугана будущим браком и снова ухватилась за возможность бегства. Вы предлагали мне защиту, но Ваша защита всегда требовала, чтобы я отказалась от имени, дома и положения ради Вашей любви».

Я перечитал эту фразу дважды.

Отказалась от имени, дома и положения.

Именно это я предложил ей. Уехать со мной, бросив всё. Я считал себя благородным, потому что собирался жениться, но даже не спросил, хочет ли княжна Соболевская прятаться в Покровском, пока я буду служить, драться, пить и возвращаться к ней, когда мне удобно.

Чернила в нескольких местах расплылись. От слёз? Или вода капнула с пера?

«Вы называли меня продажной, душили, угрожали убить,

а затем говорили о любви. Я слишком долго жила рядом с женщиной, чьи чувства превращались в побои, чтобы добровольно отдать себя другому такому же».

Воздух исчез.

Не хватало. Я распахнул ворот рубахи, но ткань продолжала душить. Перед глазами возникло её лицо на корабле: слёзы, мои пальцы на тонкой шее, страх в синих глазах. Потом спальня в имении, где я прижимал её к постели и требовал сказать, принадлежала ли она Потоцкому.

Другому такому же.

Она сравнила меня с ним.

Нет. Не сравнила — поставила рядом.

И не могла выбрать оружие точнее.

— Гриша, дай письмо, — сказал Глеб.

Я отступил, сжимая лист.

— Не трогай.

— Ты побелел.

— Пошёл вон.

— Дай мне прочитать.

— Это написано мне!

Я заорал так, что свечное пламя задрожало. Пахом у двери вздрогнул. Глеб медленно поднялся, но не приблизился.

Я снова опустил глаза.

«Граф Чернышев ни разу не прикоснулся ко мне без позволения. Он не требует благодарности и не напоминает, чем я ему обязана. Рядом с ним мне впервые спокойно».

Ложь.

Должна быть ложь.

Но страшнее лжи оказалось слово «позволения».

Значит, он спрашивал. Значит, стоял рядом, смотрел своими светлыми глазами и ждал, пока она кивнёт. А она могла разрешить. Позволить коснуться руки, поправить выбившийся золотой локон, провести пальцами по щеке. Позволить то, чего я добивался силой, потому что никогда не умел ждать.

Воображение мгновенно подхватило эту мысль и превратило в пытку. Я увидел Чернышева возле её постели. Катя сидит перед зеркалом в одной сорочке, тонкая ткань просвечивает на груди, волосы рассыпаны по спине. Он вынимает из них шпильки одну за другой. Она смотрит на него в отражении и не отстраняется. Потом сама развязывает тесёмки у ворота.

Меня затрясло.

Я представил его губы на её шее — там, где прежде оставлял следы я. Представил ладонь на округлой белой груди, которую столько раз видел во сне. Представил, как она выгибается навстречу уже не мне, как кусает губы, как произносит чужое имя тем же задушенным голосом, которым шептала «Гриша мой».

Внутри словно распахнули живот ржавым крюком. Я согнулся, прижимая кулак к солнечному сплетению, но видения не исчезли. Наоборот — стали ярче, мерзостнее, по-

дробнее. Чернышев входит в неё, а Катя обнимает его ногами. Чернышев доводит её до того крика, который я так и не успел услышать. Он получает всё, что предназначалось мне, и даже не должен для этого драться, угрожать или истекать кровью.

— Он её трогал, — прохрипел я.

— В письме сказано обратное, — осторожно произнёс Глеб.

— Там сказано: без позволения не трогал. Значит, с позволения мог.

Волков выругался.

— Ты сейчас сам себя сожрёшь, мальчишка.

— Лучше себя, чем его. Пока.

Я схватил нож для писем и вонзил в столешницу. Лезвие задрожало.

— Если он видел её без одежды, я вырежу ему глаза. Если целовал — отрежу губы. Если она позволила ему лечь с собой...

Голос оборвался. Я не смог произнести. Даже слова казались осквернением.

— Что тогда? — спросил Глеб.

Я посмотрел на него, и брат, видимо, увидел в моём лице ответ.

— Тогда мне придётся убить его, её и себя, — прошептал я. — И не знаю, с кого начну.

В комнате стало тихо. Даже Волков не нашёл колкости.

Но почерк её. Слова её. Только Катя знала, что я сжимал ей горло. Только она могла назвать мою любовь второй тюрмой.

«Я не прошу Вас простить меня. Прошу оставить в покое. Возможно, со временем я приму предложение Александра Захаровича и стану его женой. Он относится к моему прошлому с уважением и не считает кровь отца преступлением дочери».

Я почувствовал вкус крови. Прикусил губу так сильно, что прокусил насквозь.

Стану его женой.

Предложение уже сделано.

Наверняка она сидела рядом, пока писала. В его комнате, за его столом. Может быть, в одном халате после ночи, проведённой в его постели. Он гладил её золотые волосы, а она подбирала слова, чтобы отрезать меня от себя, как ненужную, сгнившую часть тела.

«Не приезжайте. Не унижайте ни себя, ни меня сценами ревности. Вы молоды, красивы и свободны. Княжна Завадская сможет дать Вам то, чего не могла дать я: достойную семью без позора и проклятого прошлого».

Внизу стояла подпись.

«Екатерина Потоцкая».

Не Соболевская.

Не моя Катя.

Она подписалась именем человека, которого казнили вче-

ра, словно нарочно напомнила: женой Николая была, женой Чернышева станет, а мне не принадлежала никогда.

Лист затрясся в руках. Потом я услышал хруст и понял, что сжал его в кулаке.

— Ну? — Волков поднялся. — Что эта дура написала?

Я посмотрел на него и не смог произнести ни слова. Если открою рот, из меня выйдет не голос — вой. Тот самый, которым старый Потоцкий провожал племянника на плаху.

Глеб подошёл и разжал мои пальцы. На этот раз я не сопротивлялся. Он разгладил письмо на столе, прочитал. Лицо оставалось неподвижным, лишь возле рта появилась глубокая складка.

Пока брат читал, я стоял напротив, точно обвиняемый перед судьёй, и следил за движением его глаз. Вот он дошёл до слов о корабле. Вот задержался на сравнении с Потоцким. Вот прочёл о будущем браке. Мне хотелось вырвать лист, но одновременно хотелось, чтобы Глеб увидел каждую строку. Чтобы знал: меня не просто отвергли — меня раздели, поставили перед близкими нагим и перечислили все уродства, которые я так старательно называл любовью.

В дверь заглянул Пахом.

— Ваше сиятельство, прикажете подать завтрак?

— Вон, — сказал я.

Он исчез. На подносе остался маленький нож для писем. Тонкий, с перламутровой рукоятью. Я взял его и провёл остриём по подушечке большого пальца. Кожа разошлась,

выступила кровь.

— Положи, — приказал Глеб.

— Боишься, что зарежусь?

— Боюсь, что испортишь хороший нож своим дешёвым представлением.

Я нажал сильнее. Боль была простой, честной, почти приятной. Она не лгала, не обещала любви, не прятала за словами чужие руки.

— Знаешь, что самое мерзкое? — спросил я. — Она права.

— В чём?

— Во всём. Я душил её. Угрожал. Называл продажной. Каждый раз, когда она не давала мне желаемого ответа, я хватал сильнее. А потом приходил с предложением руки, будто титул графини должен был превратить страх в благодарность.

Глеб положил письмо.

— Ты никогда не был Потоцким.

— Потому что не успел её изнасиловать?

Волков резко убрал ноги со скамеечки.

— Не говори глупостей.

— Почему? Я хотел её так, что не видел перед собой человека. На корабле остановился не из благородства. Она заговорила о побеге, и ярость оказалась сильнее похоти. В имении меня остановили раны. Может, останься мы вдвоём ещё на неделю, я показал бы, чем отличаюсь от её мужа.

— Ты остановился бы, — сказал Глеб.

— Откуда знаешь?

— Потому что остановился уже тогда, когда мог не останавливаться. Ты грубый, ревнивый, неуправляемый ублюдок, но женщину силой не брал.

— Какая безупречная характеристика для жениха.

— А кто сказал, что из тебя выйдет хороший муж?

Я рассмеялся и вдруг почувствовал, как по щеке скользнула слеза. Одна. Горячая, унижительная. Я быстро стёр её окровавленным пальцем, оставив красный след от скулы до подбородка.

— Вот она сказала. Хотела стать моей женой.

— Значит, видела в тебе что-то ещё.

— Теперь разглядела лучше.

Волков тяжело поднялся, подошёл к столику и налил мне воды. Не вина — воды. Протянул стакан.

— Выпей.

— Не хочу.

— Это не предложение, желторотик.

Я взял стакан. Холодное стекло скользило в мокрых пальцах. Сделал глоток, и вода встала поперёк горла. Меня затошнило от воспоминания, как совсем недавно пил из её рук, как Катя дула на ложку с бульоном и ворчала, что я хуже капризного ребёнка.

«Гриша мой».

Всего два слова. Когда-то они превращали меня в самого

сильного мужчину на земле. Теперь в письме стояло холодное «Григорий Сергеевич», и я вдруг понял, что имя человека тоже можно отнять, не меняя ни одной буквы. Достаточно перестать произносить его с любовью.

Стакан треснул в моей руке.

Осколок рассёк ладонь. Кровь потекла на белую скатерть. Глеб выругался, вырвал стекло и прижал к ране салфетку.

— Ты совсем обезумел?

— Нет. Кажется, наконец пришёл в себя.

— Если это ты в здравом уме, верните мне пьяницу. Он хотя бы попадал рвотой на пол, а не кровью на мебель.

Я позволил перевязать руку. Белая ткань быстро пропиталась алым. Где-то сейчас Катя, возможно, тоже носила повязки на моих следах и следах Потоцкого. Только её раны нанесены чужими руками, а свои я открывал сам.

— Это её почерк? — спросил Волков.

— Да, — ответил я.

— Значит, дрянь.

Глеб поднял голову.

— Замолчи.

— Что замолчи? Мы тут планы дома достаём, людей подкупаем, этот желторотик чуть себя не пропил, а она уже следующего жениха примеряет. Хоть бы постель после мужа остыла.

Я ударил Волкова.

Кулак вошёл в его челюсть, как в каменную стену. Васи-

лий качнулся, сплюнул кровь, но не ответил. Только вытер рот тыльной стороной ладони.

— Ещё раз назовёшь её дрянью — убью.

— Она тебя растоптала, а ты защищаешь.

— Имею право. Ты — нет.

— Прекрасно. Тогда сам называй.

— Хватит! — Глеб ударил ладонью по столу. — Оба заткнулись.

Он поднёс письмо ближе к свече.

— Мне не нравится.

Я рассмеялся. Смех разодрал горло.

— Мне тоже, брат. Особенно место, где она собирается за него замуж.

— Не содержание. Письмо.

— Почерк её.

— Я вижу.

— Лепесток из её сада. Запах её духов. То, о чём знали только мы.

— Именно. Здесь слишком много доказательств подлинности. Будто автор заранее знал, что мы усомнимся.

Я вырвал письмо.

— Ты сам велел мне узнать правду. Вот она.

— Это бумага.

— Написанная её рукой!

— Рука может писать под угрозой.

— Она отдельно подчёркивает, что угрозы не было.

— Что и написал бы человек под угрозой.

Я швырнул письмо на стол.

— Тогда любая её фраза станет доказательством твоей правоты! Если пишет, что любит — верим. Если пишет, что не любит — значит заставили. Удобно.

— Ты хочешь поверить, потому что ненавидеть её легче, чем надеяться.

— Я надеялся дважды. В третий раз это уже не надежда, а слабоумие.

Глеб взял засушенный лепесток. Потёр между пальцами, понюхал.

— Белые розы не цветут в декабре.

— Засушенный.

— Значит, кто-то хранил его несколько месяцев именно для такого письма?

Я хотел ответить, но слова застряли.

Возможно, лепесток лежал у неё среди вещей. Возможно, Катя сама сохранила его после нашей встречи. Или Чернышев побывал в её доме и забрал.

Сомнение шевельнулось, но тут же я снова увидел строки: «другому такому же».

Ни Чернышев, ни его люди не могли знать, как я обращался с ней на корабле. Катя написала сама. Даже если он приказал отправить письмо, слова выбрала она.

— Я не пойду туда, — сказал я.

Глеб резко поднял голову.

— Что?

— Она просит оставить её. Оставлю.

Произнести это оказалось более, чем вырвать из себя сердце голыми руками. Я взял план дома Чернышева, поднёс к свече. Огонь побежал по краю, заглатывая южную стену, сад, служебный вход, лестницу, по которой собирался подняться к ней.

— Не делай этого, — сказал Глеб.

— Почему? Не умею уважать женские решения? Теперь научусь.

— Хотя бы поговори с ней лично.

— Чтобы она повторила это мне в лицо? Нет. Такого удовольствия я ей не доставлю.

Пламя лизнуло пальцы. Я не отпустил сразу, позволяя боли впитаться в кожу. Потом бросил горящий лист в камин.

Дом Чернышева исчезал в огне.

Вместе с последней дорогой к Кате.

— Значит, всё? — тихо спросил Волков.

Я смотрел, как чернеют линии окон её новой тюрьмы.

— Всё.

Солгал так же легко, как она в письме.

Потом снял со спинки кресла белый мундир, надел его и застегнул до самого горла. Серебряное шитьё сверкало в утреннем свете, сапоги были начищены, волосы снова собраны чёрной лентой. В зеркале стоял прежний граф Никитин — красивый, надменный, холодный. Только глаза принадле-

жали человеку, которого заживо выпотрошили и аккуратно зашили, чтобы никто не заметил пустоты.

— Куда ты? — спросил Глеб.

— На службу.

— А вечером?

Я взял со стола приглашение, присланное несколько недель назад. Имя Татьяны Завадской было выведено золотом.

— Вечером я докажу Екатерине Павловне, что умею исполнять её последние желания.

Глава 5

Чернила не смывались.

Я тёрла пальцы пемзой до тех пор, пока кожа не стала алой, потом сунула руки в горячую воду и продолжила скрести ногтями, словно проклятые слова впитались не в подушечки пальцев, а проникли глубже — в кровь, сухожилия, кости. Вода в фарфоровой чаше окрасилась розовым. Марта стояла рядом, держала полотенце и плакала молча, не решаясь остановить меня.

Я написала Грише, что он похож на Николая.

Написала, что позволила Чернышеву прикоснуться ко мне. Что рядом с ним мне спокойно. Что собираюсь стать его женой.

Каждая буква выходила из-под пера, как вырванный ноготь. Я нарочно дрожала, надеялась, что Гриша увидит неровные строки, почувствует ложь, вспомнит первое письмо Потоцкого. Но Чернышев заставлял переписывать. Трижды. Первый лист показался ему слишком холодным, второй — недостаточно убедительным. На третьем он встал за моей спиной, накрыл ладонью мою руку и подсказывал, куда ударить сильнее.

«Напишите о корабле».

«Сравните его с мужем».

«Мужчины охотнее верят жестокости, когда она подтвер-

ждает их тайный страх».

Я отказалась. Тогда он велел привести Лизу и Марту. Лизе приготовили бумаги об увольнении, Марте — дорожный сундук и приказ отправить в опечатанное имение, где её могли арестовать как сообщницу Потоцких.

Пришлось выбирать, чьё сердце разрезать пером.

Я выбрала сердце Григория.

Когда письмо было закончено, Чернышев прочёл его от начала до конца, не выпуская моей руки из своей. Я чувствовала, как под его пальцами бьётся жилка на запястье, и ненавидела это предательское биение: тело продолжало цепляться за жизнь даже тогда, когда душу заставляли собственноручно вырыть себе могилу.

— Подпишите, — сказал он.

Я вывела: «Екатерина Соболевская».

Чернышев посмотрел, затем спокойно разорвал лист пополам.

— Что вы делаете?!

— Ваш возлюбленный знает, что официально вы княгиня Потоцкая. Подпись Соболевской покажется ему призывом о помощи.

— Она и есть призыв о помощи.

— Поэтому я её не приму.

Он положил передо мной новый лист. Я смотрела на белую бумагу, и меня тошнило от её чистоты. Она ещё не знала, во что мы её превратим.

— Я не стану переписывать.

— Тогда Марта уедет до наступления темноты.

— Вы не посмеете.

— Я делаю множество вещей, которые вы считаете невозможными. Вам пора расширить представления обо мне.

Я снова взяла перо. На последней строке рука отказалась двигаться. Написать фамилию Николая после того, как его голова покатилась по песку, казалось новым венчанием с мертвецом. Чернышев встал позади, вложил перо между моих пальцев и прижал ладонь к бумаге.

— Потоцкая, — произнёс он возле самого уха. — Именно эта подпись убедит Никитина, что вы сами выбрали прошлое вместо него.

— Когда-нибудь я заставлю вас проглотить каждое слово.

— Буду ждать с интересом.

Мы написали фамилию вместе. Его сильная рука направляла мою, и от этого последнее слово стало похоже на клеймо, которое ставят раскалённым железом на беглой каторжнице. Потом Чернышев прижал к воску печать без герба и вложил засушенный лепесток белой розы.

— Откуда он у вас?

— Из вашего имения.

— Вы были там?

— Мои люди были везде, где вы оставили часть жизни.

Тогда я впервые поняла, что он собирал меня задолго до нашей встречи: письма, вещи, слухи, цветы, чужие воспоми-

нения. Не спаситель случайно увидел красивую пленницу. Охотник наконец забрал добычу, по следу которой шёл неизвестно сколько времени.

— Хватит, — прошептала Марта, поймав моё запястье.
— Ты уже до мяса стёрла.

— Там остались чернила.

— Нет там ничего.

— Я чувствую.

— Это кровь.

— Не моя.

Она силой вырвала пемзу. Я бросилась за ней, но комната качнулась, в рёбрах вспыхнула боль, и я ухватила за край умывальника. В зеркале напротив стояла девушка в белой ночной сорочке. Золотые волосы спутались, лицо стало почти прозрачным, один глаз всё ещё окружала желтовато-синяя тень. Руки до локтей были мокрыми, с пальцев капала кровь.

Мне показалось, что это призрак матери.

Дарья тоже пыталась отмыть с себя мужчину, которого любила. Скребла кожу после прикосновений мужа, которому принадлежала по закону, и француза, которому отдала сердце? А потом вошла в озеро, потому что вода оказалась единственным, что не требовало от неё выбирать?

— Как она умерла? — спросила я.

Марта вздрогнула.

— Кто?

— Моя мать.

— Ты знаешь. Утонула.

— Сама?

Кормилица отвернулась. Достаточно быстро, чтобы выдать правду, и слишком медленно, чтобы спрятать её.

— Марта.

— Не сейчас, девочка.

— Именно сейчас. Я написала любимому, что выбрала другого мужчину. Может, завтра тоже пойду к Неве. Хочу знать, семейная ли это привычка.

Она ударила меня по щеке.

Несильно. Но звук разнёсся по комнате, и мы обе застыли. Марта смотрела на свою ладонь в ужасе, словно она принадлежала не ей.

— Прости, — прошептала она.

Я коснулась горячей щеки.

— За что? В этом году меня били князь, конвоиры, муж и кормилица. Остался только спаситель. Надо предложить Чернышеву, чтобы не чувствовал себя обделённым.

— Не смей говорить о смерти! — Марта схватила меня за плечи и тут же ослабила пальцы, вспомнив о ранах. — Ты думаешь, мне не больно? Я держала тебя младенцем, прятала от пьяного Соболевского, ночами сидела возле твоей кровати. А теперь должна слушать, как ты собираешься утопиться из-за мужчины, который даже не пришёл?

— Он не знал.

— Ты всегда говоришь это о нём.

— Потому что это правда.

— Правда в том, что рядом его нет.

Я отступила, словно она ударила снова.

— Выйди.

— Катя...

— Выйди, пока я не возненавидела единственного человека, которого ещё могу любить без страха.

Марта заплакала, прижала полотенце к моим израненным рукам и вышла. За дверью, как всегда, повернулся ключ.

Я осталась одна со словами, которые написала, и словами, которых сказать не сумела.

К полудню принесли платье цвета тёмного вина. Тяжёлый бархат плотно облегал талию, лиф был расшит чёрным бисером, рукава заканчивались белым кружевом. Наряд вдовы, но слишком роскошный для настоящего траура. Чернышев будто одевал меня не для скорби, а для демонстрации: посмотрите, какую редкую птицу он вынес из горячей клетки.

Я отказалась переодеваться.

Служанка ушла и вернулась с коротким сообщением:

— Александр Захарович будут ждать вас в библиотеке. Если вы не спуститесь сами, приказали принести.

— На подносе?

Девушка подавила улыбку.

— На руках, сударыня.

После вчерашнего я не сомневалась, что он исполнит

угрозу. Позволить Чернышеву снова пронести меня перед слугами оказалось невыносимее, чем надеть выбранное им платье.

Пока горничные затягивали корсет, я не могла вдохнуть. Не из-за шнуровки. Каждый крючок, каждая пуговица на поминали: даже оболочку моей кожи теперь определяет он. Волосы уложили высоко, выпустив вдоль шеи два золотых локона. На грудь легла чёрная бархатка с единственной жемчужиной.

Такая же жемчужина была в сереге, которой я купила Лизину смелость.

Я сорвала украшение.

— Передайте графу: на шею он сможет надеть мне только верёвку.

Библиотека занимала почти всё западное крыло. Высокие шкафы из тёмного дуба уходили к расписному потолку, книги за стеклом сверкали золотыми корешками. Возле окон стояли глобусы, карты и длинный стол, покрытый зелёным сукном. В камине горели поленья, но мне стало холодно, едва я увидела Чернышева.

Он стоял спиной, рассматривая карту Европы. Сегодня на нём был серый камзол с серебряным шитьём, белый шёлковый жилет, узкие чёрные бриджи и сапоги до колен. Тёмные волосы аккуратно перевязаны лентой. На правой руке — перстень с чёрным камнем.

Этой рукой он удерживал моё письмо над огнём.

— Вы хотели меня видеть.

— Хотел.

— Смотрите. Я постою, пока не надоем.

Он обернулся. Взгляд скользнул по платью, задержался на обнажённой шее.

— Жемчужина вам не понравилась?

— Не люблю ошейники.

— Зато прекрасно носите.

— А вы прекрасно лжёте. У каждого свой дар.

Чернышев указал на кресло.

— Присядьте.

— Постою.

— У вас повреждены рёбра.

— Поразительная осведомлённость. Доктор описал каждый синяк или приложил рисунки?

На его лице ничего не изменилось, но пальцы легли на край стола чуть жёстче.

— Он сообщил, что вам нужен покой.

— А вы решили добавить душевных мучений, чтобы тело не скучало.

— Я решил рассказать правду.

— Вчера вы заставили меня написать ложь.

— Ложь иногда подготавливает человека к правде. После неё правда кажется почти милосердием.

— Вы репетируете эти фразы перед зеркалом или мерзость рождается сама?

— Обычно в беседе с вами.

Я села, потому что ноги действительно начали дрожать. Чернышев открыл нижний ящик стола и достал небольшой ларец, обтянутый потрескавшейся зелёной кожей.

— Узнаёте?

— Нет.

— Он принадлежал вашей матери.

В груди что-то болезненно перевернулось.

На крышке серебром были выведены переплетённые буквы «Д» и «Р». Дарья. Руа.

Я протянула руку, но Чернышев удержал ларец.

— Откуда он у вас?

— Достался вместе с бумагами Потоцких.

— Отдайте.

— Сначала выслушайте.

— Это вещь моей матери!

— Именно поэтому вы не уйдёте, хлопнув дверью.

Я вцепилась ногтями в ладони. Он всё рассчитал: платье, лестницу, кресло, ларец. Каждую мою реакцию разложил на столе, как шахматные фигуры.

— Говорите.

Чернышев открыл ларец. Внутри лежали перевязанные выцветшей голубой лентой письма, засушенные цветы и миниатюрный портрет мужчины.

Я увидела волосы — светлые, почти золотые. Увидела синие глаза, высокий лоб, прямой нос и тонкий насмешливый

рот.

Моё лицо.

Только мужское, более резкое, повзрослевшее.

Пальцы заledenели.

— Кто это?

— Вы знаете.

— Скажите.

— Граф Этьен де Руа. Французский дипломат, авантюрист, человек, которого русские власти много лет считали шпионом.

Я смотрела на портрет. Мужчина на нём улыбался так, словно был уверен, что мир создан для его удовольствия. На шее кружевное жабо, на синем камзоле серебряная лилия, в глазах живой, дерзкий свет.

Такой же свет я видела в собственных глазах, когда ещё умела смеяться.

Я приложила портрет к зеркалу на стене и посмотрела сначала на него, потом на собственное отражение. Сходство было не просто заметным — оно унижало, словно всю жизнь я носила на лице признание в материнском грехе, а окружающие читали его, пока сама оставалась неграмотной.

Теперь я вспомнила взгляды слуг в детстве. Старые женщины замолкали, когда я вбегала на кухню. Мужчины рассматривали волосы, переглядывались. Отец — тот, кого я называла отцом, — никогда не позволял приближаться к себе, но иногда подзывал, брал за подбородок и долго смотрел в

лицо. В детстве мне казалось, он пытается найти в моих чертах что-то достойное любви. Теперь понимала: Павел Соболевский искал мужчину, которого хотел убить.

Однажды, мне было лет семь, я прибежала к нему с букетом полевых цветов. Он сидел в кабинете и пил. Я протянула васильки, сказала, что они такого же цвета, как мои глаза. Соболевский схватил меня за волосы, притянул к лицу и прошипел: «Даже глаза его, проклятие». Потом толкнул. Я упала на каминную решётку и обожгла ладонь. Марта сказала, что отец был пьян и не понял, что делает.

Он всё понимал.

Шрам на ладони побелел, почти исчез, но сейчас запылал с прежней силой. Выходит, первый мужчина, ударивший меня из-за чужой любви, сделал это ещё до того, как я узнала значение слова «любовь».

— Вы давно знаете? — спросила я.

— О вашем происхождении? Достаточно давно.

— И смотрели, как я называла себя Соболевской.

— Люди часто держатся за имена крепче, чем за правду.

— Потому что правда не обнимает ребёнка, когда ему страшно. Имя хотя бы даёт иллюзию, что ты кому-то принадлежишь.

— Вы так отчаянно хотите принадлежать?

Я повернулась к нему.

— Нет. Я отчаянно хочу, чтобы хоть один человек выбрал меня, не рассчитывая, что получит взамен.

Чернышев отвёл взгляд первым. Маленькая победа, но внутри от неё стало только большее.

— Он гостил у нас, — прошептала я. — Марта говорила о французе.

— Он был любовником вашей матери.

— Замолчите.

— Дарья Николаевна собиралась бежать с ним.

— Замолчите!

Я вскочила. Боль в боку полоснула, но я почти не почувствовала. Чернышев достал письмо.

— «Мой дорогой Этьен, дитя шевелится под сердцем, и я уже не могу обманывать себя. Оно твоё...»

Я ударила его по руке. Лист выпал на стол.

— Не смейте читать слова моей матери!

— Почему? Вы предпочитаете, чтобы её голос навсегда принадлежал мёртвым мужчинам?

— Она писала не вам.

— Как и вы писали не мне. Однако чужие письма имеют привычку попадать в мои руки.

Я схватила лист. Почерк был лёгким, округлым. Чернила выцвели до коричневого, внизу виднелось пятно, размывшее несколько слов.

Слеза матери.

«Я боюсь Павла. Он смотрит на меня так, будто уже всё понял. Если со мной что-нибудь случится, найди нашу девочку. Не оставляй её с ним».

Нашу девочку.

Колени подломились. Я опустилась в кресло, прижав письмо к груди.

Внутри меня рушился целый мир, хотя этот мир никогда не был добрым. Павел Соболевский ненавидел меня не за сходство с неверной женой. Он каждый день видел в моём лице мужчину, который украл у него Дарью. Золотые волосы, синие глаза, насмешливый рот — всё моё существование было доказательством его унижения.

— Он знал? — спросила я.

— Соболевский? Почти наверняка.

— Поэтому запер меня в монастыре.

— Возможно.

— Поэтому никогда не называл дочерью.

— Катя...

— Не называйте меня так!

Я подняла глаза. Чернышев стоял совсем близко. В его лице впервые не было насмешки. Только внимательное, почти болезненное ожидание.

— Зачем вы рассказываете мне это сейчас?

— Потому что вам необходимо понять: Соболевской вы никогда не были.

— А Потоцкой перестала быть вчера. Как удобно. Вы сняли с меня последнее имя.

— Я даю вам настоящее.

— Имя шпиона?

— Имя отца.

— Отца, который не пришёл за мной! — закричала я. — Мать просила найти нашу девочку. Где он был, когда меня били? Когда запирали в монастыре? Когда везли на каторгу? Где был этот прекрасный граф де Руа?

Слёзы хлынули сами. Я ненавидела их, но остановить не могла. Письмо дрожало в руках. Мне снова было пять лет, десять, шестнадцать — любой возраст, в котором ребёнок продолжает ждать, что однажды откроется дверь и войдёт человек, обязанный любить его просто за существование.

— Может быть, он не знал, — сказал Чернышев.

Я рассмеялась сквозь слёзы.

— Сегодня все мужчины не знают. Гриша не знал, что я в тюрьме. Де Руа не знал, что у него дочь. А вы, конечно, не знали, что сжигаете моё сердце вместе с письмом.

— Я знал.

Честность ударила страшнее оправдания.

— Ненавижу вас.

— Вы уже говорили.

— Буду повторять, пока не поверите.

— Я верю. Это ничего не меняет.

Я прижала материнское письмо к губам. От бумаги пахло пылью и сухими цветами, но мне чудился запах озёрной воды, мыла, женских духов. Запах женщины, которую я почти не помнила и по которой тосковала всю жизнь.

— Вы хотите использовать меня, чтобы найти его.

Чернышев не ответил сразу.

— Мне нужны документы, которые де Руа вывез из России.

— А я приманка.

— Вы его дочь.

— Для вас это одно и то же.

Я осторожно положила письмо в ларец и забрала портрет.

Чернышев не остановил.

— Он мёртв?

— Нет.

Слово разорвало воздух.

Я подняла голову.

— Что?

— Этьен де Руа жив. Более того, несколько месяцев назад он узнал, что дочь Дарьи пережила монастырь, каторгу и замужество с Потоцким.

Сердце ударилось о рёбра так сильно, что я задохнулась.

— Откуда?

Чернышев закрыл ларец.

— Потому что он прислал мне предложение.

— Какое предложение?

Серые глаза остановились на моём лице.

— Обменять вас на бумаги, ради которых когда-то погибла семья Никитиных.

Я смотрела на него, не понимая, что именно должно убить меня первым: отец, готовый торговать дочерью, которую ни

разу не обнял, или документы, пропитанные кровью родителей Григория. Между нами снова встали мёртвые — моя мать, его мать, Николай, Соболевский, Потоцкие. Их становилось всё больше, а нам с Гришей оставалось всё меньше места среди живых.

Портрет де Руа дрогнул в моей руке.

Мужчина с моими глазами продолжал улыбаться.

Глава 6

— Сколько?

Чернышев приподнял брови.

— Простите?

— Сколько бумаг стоит одна дочь? Один сундук? Два?

Или отец оценил меня по весу, как мясник тушу на рынке?

Я стояла посреди библиотеки, сжимая миниатюрный портрет де Руа так сильно, что тонкая рамка впилась в ладонь. Мужчина с моими глазами улыбался, не подозревая, что спустя двадцать лет будет торговаться за собственную дочь с незнакомым русским графом.

Чернышев подошёл к столу и налил воды. Не вина — словно понимал, что сейчас мне необходима ясность, чтобы каждое его слово вошло глубже.

— Де Руа не предлагал обменять вас в буквальном смысле.

— Какое облегчение. Значит, выразился изящнее? Французы умеют заворачивать предательство в шёлк.

— Он сообщил, что готов передать часть документов человеку, который доставит вас в безопасное место для встречи.

— То есть доставит ему меня.

— Вы передёргиваете.

— А вы называете похищение путешествием, клетку за-

щитой и торговлю встречей. Мы оба любим красивые слова.

Граф подал мне стакан. Я не взяла.

— Где он?

— Неизвестно.

— Вы только что сказали, что получили предложение.

— Через посредника. Де Руа давно научился не оставлять адресов.

— Разумная привычка для человека, из-за которого умирают другие.

При упоминании семьи Никитиных грудь сдавило так, будто под корсет всунули железный обруч и начали медленно затягивать. Если Гриша узнает, чья кровь течёт во мне, его ненависть наконец получит имя и лицо. Моё лицо.

Я всегда боялась, что он отвернётся из-за Соболевского. Теперь выяснилось: настоящий отец мог быть ещё страшнее мнимого.

— Что было в тех документах? — спросила я.

— Переписка, имена людей при дворе, сведения о деньгах и приказах. Достаточно, чтобы отправить на плаху несколько весьма уважаемых семейств.

— И убить родителей Григория.

— Возможно, их смерть была не целью, а последствием.

Я рассмеялась. Резко, почти истерично.

— Какая разница для ребёнка, нашедшего мать с разорванным платьем? Целью её убили или последствием?

Чернышев замер. Я поняла, что попала в точку.

— Вы знаете, как они умерли.

— Я читал старое дело.

— И всё это время молчали.

— Вы не спрашивали.

— Я не спрашивала, не продавал ли меня отец за пачку бумаг. Какое упущение с моей стороны.

Граф поставил нетронутый стакан на стол.

— Вам необходимо успокоиться.

— Не произносите эту фразу. Мужчины говорят её женщине, когда сами довели её до безумия и теперь боятся последствий.

— Хорошо. Продолжайте разрушать себя. Но делайте это сидя, пока не разошлись треснувшие рёбра.

Я хотела ответить, однако боль уже поднималась от бока к плечу. Пришлось опуститься в кресло. Чернышев позвонил в серебряный колокольчик. Дворецкий вошёл почти сразу.

— Подать обед сюда. На двоих.

— Я не стану с вами обедать.

— Тогда будете смотреть, как ем я.

— Захватывающее зрелище, но я предпочитаю казни.

— Заметил.

В его голосе прозвучала такая холодная жестокость, что я снова увидела голову Николая на золотом песке. Пальцы задрожали. Портрет выпал на юбку.

Чернышев поднял его и задержал в руке.

— Вы похожи.

— Верните.

— Те же глаза. Волосы. Даже выражение, когда собираетесь солгать.

— Вы настолько хорошо знали моего отца?

— Достаточно, чтобы не доверять ему.

— Но мне предлагаете встречу.

— Под моим контролем.

— Вот оно. Самое любимое ваше выражение.

Слуги внесли обед: суп в серебряной миске, запечённую стерлядь, перепелов, пирожки, фрукты и графин бургундского. На стол легла белоснежная скатерть, засверкали приборы. От запаха еды желудок болезненно сжался. Я почти ничего не ела после казни, но не желала доставлять Чернышеву удовольствие видеть мой голод.

Он сел напротив, расправил салфетку.

— Попробуйте суп.

— Отравлен?

— Нет. Я предпочитаю медленные способы.

— Уже заметила.

Я взяла ложку только потому, что руки перестали слушаться. Первый глоток горячего бульона обжёг рот и вызвал голодную судорогу. Тело предало меня, потребовало ещё. Я ела слишком быстро, ненавидя себя за каждый глоток, а Чернышев делал вид, будто не замечает.

— Вы можете встретиться с де Руа, — произнёс он, разрезая перепела. — Но для этого ваше положение должно из-

мениться.

Ложка остановилась возле губ.

— Каким образом?

— Сейчас вы вдова казнённого изменника, дочь человека, осуждённого за заговор, и предполагаемая наследница французского шпиона. У вас нет имущества, средств и законного покровителя. Любая встреча с де Руа превратит вас в обвиняемую.

— А если встречу организуете вы?

— Тогда обвинят нас обоих.

— Как печально. Значит, всё это время вы рисковали репутацией ради моего прекрасного лица?

— Лицо действительно помогло.

Я отложила ложку.

— Говорите прямо.

Чернышев вытер пальцы салфеткой. Затем достал из внутреннего кармана маленькую бархатную коробочку и поставил между нами.

Меня затошнило раньше, чем он открыл.

Внутри лежало кольцо. Тяжёлый сапфир цвета зимнего неба окружали мелкие бриллианты. Оно было прекрасным — и оттого ещё более отвратительным. Николай тоже протягивал мне драгоценности, ожидая, что камни заменят согласие.

— Нет.

— Я ещё ничего не спросил.

— Вы поставили перед женщиной кольцо. Даже медведь догадается.

— Медведь, возможно, дождался бы предложения.

— Тогда женитесь на медведице. У вас будет много общего.

В уголках его губ мелькнула улыбка.

— Станьте моей женой, Екатерина Павловна.

Слова прозвучали буднично, как распоряжение подать экипаж.

Я смотрела на сапфир и чувствовала, как внутри меня медленно поднимается ярость. Не горячая, шумная — ледяная. Та, от которой перестают дрожать руки.

— Зачем?

— Моё имя защитит вас. Вы получите положение, деньги, возможность путешествовать и встретиться с отцом. Никто не осмелится арестовать жену человека, которому доверяют при дворе.

— А вы получите де Руа и документы.

— Получу.

— Ещё моё тело.

Чернышев не отвёл глаз.

— Со временем.

— Когда благодарность созреет?

— Когда вы сами захотите.

— А если никогда?

— Я умею ждать.

От его спокойствия желудок стянуло в ледяной узел. Николай угрожал плетью, кричал, бил. Чернышев обещал ждать, но в этом обещании уже были закрытые двери, перехваченные письма, купленные слуги. Он не собирался ломать меня одним ударом. Он хотел стать воздухом вокруг, чтобы однажды я сама приползла за разрешением дышать.

— Вы уже однажды вышли замуж ради имени и защиты, — продолжил он. — Второй раз хотя бы выберите мужчину разумнее.

Я взяла коробочку. Чернышев едва заметно выдохнул, решив, что победил.

А затем я опрокинула кольцо в суп.

Сапфир исчез в жирном бульоне. Несколько капель брызнули на белую скатерть и серебряный жилет графа.

В комнате стало так тихо, что я слышала потрескивание дров.

— Простите, — сказала я. — Ваше предложение утонуло. В нашей семье это считается достойным завершением несчастной любви.

Лицо Чернышева окаменело.

— Вы находите это забавным?

— Нет. Забавным будет, когда вы попросите повара выловить кольцо.

Он медленно поднялся. Я тоже встала, не желая оставаться ниже. Между нами был стол с растоптанной белой скатертью, как поле после короткой войны.

— Я предлагаю вам всё, чего вы лишены.

— Именно поэтому предложение мерзко. Вы сначала убедились, что у меня ничего не осталось, а потом принесли цену.

— Я спас вас.

— И теперь выставили счёт.

— Вы несправедливы.

— А вы рассчитывали, что избитая, бездомная женщина окажется дешевле? Одно кольцо, несколько платьев, обещание показать отца — и она раздвинет ноги от благодарности?

Его глаза потемнели.

— Я никогда не требовал от вас этого.

— Пока.

— В отличие от Никитина, я умею слышать слово «нет».

Имя Гриши ударило под дых.

— Не смейте говорить о нём.

— Почему? Он ведь уже исполняет ваше желание. Вчера вечером граф Никитин появился у Завадских и не отходил от Татьяны весь вечер.

Я не позволила себе пошатнуться. Только пальцы сжались на спинке кресла.

— Вы лжёте.

— Половина двора обсуждает их примирение. Если хотите, пришлю газету светских известий.

Перед глазами возник Гриша в белом мундире рядом с темноволосой красавицей. Его рука на её талии. Зелёные

глаза Татьяны, торжествующая улыбка. Он прочёл письмо. Поверил. А чего я ожидала? Что мужчина, называвший меня шлюхой за один взгляд на другого, услышит ложь сквозь бумагу?

— Он танцевал с ней? — спросила я прежде, чем успела запретить себе.

Чернышев заметил слабость. Конечно заметил. Он умел чують кровь раньше, чем она выступала на коже.

— Дважды.

— Это ничего не значит.

— Первый танец действительно ничего. Второй мужчина просит, когда желает, чтобы его выбор заметили.

Я знала. При дворе каждый поворот головы становился признанием, каждый взгляд — обещанием, каждое лишнее прикосновение — объявлением войны. Григорий не мог не понимать. Значит, хотел, чтобы мне рассказали.

— Она была красива?

— Завадская всегда красива.

— Красивее меня?

Вопрос выскочил жалким, голым, унижительным. Я ненавидела себя за него. Чернышев отложил нож и посмотрел так внимательно, что захотелось закрыть лицо руками.

— Нет.

— Вы обязаны так ответить женщине, которую хотите купить.

— Я никогда не лгу там, где достаточно правды. Татья-

на прекрасна. Но рядом с вами другие женщины становятся частью обстановки.

— А мужчины — идиотами.

— Некоторые были ими заранее.

Я отвернулась, но воображение уже рисовало бал. Зала Завадских, залитая свечами, зеркала в золочёных рамах, музыканты на хорах. Татьяна в зелёном платье, подчёркивающим глаза и тёмные кудри. Гриша склоняется к её шее, говорит что-то, от чего она смеётся. Его пальцы лежат на талии там, где когда-то удерживали меня. Он касается её обнажённой спины, чувствует под ладонью гладкую кожу без синяков и следов плети.

Завадская чиста от чужой крови. Её отец не торговал государственными тайнами. Мужа не обезглавили. Она не сидела в тюрьме и не сбегала с мужчинами, чтобы выжить. С ней Грише не придётся выбирать между честью и любовью.

От этой мысли по позвоночнику прошёл ледяной скрежет. Внутри словно провернули нож, наматывая на лезвие кишки, воспоминания, надежды. Я схватила стакан и выпила вино залпом. Оно обожгло пустой желудок.

— Осторожнее, — сказал Чернышев. — Никитин уже показал, как выглядит человек, пытающийся утопить любовь в вине.

— Вы следили и за ним?

— За вами обоими приходится следить. Иначе вы уничтожите половину столицы, пытаясь ранить друг друга.

— Что с ним было?

— Ничего, что украсило бы героя. Несколько дней в трактирах, дешёвые женщины, драки. Потом брат привёл его в чувство.

Слова «дешёвые женщины» вонзились под ногти. Я представила чужие губы на его теле, белые руки, распахнутые юбки. Гриша, пьяный и яростный, берёт одну из них, закрывает глаза и видит меня. Или уже не видит. Возможно, ему оказалось достаточно любой светловолосой девки.

— Зачем вы это рассказываете?

— Чтобы вы перестали создавать из Никитина святого. Он страдает грязнее большинства мужчин.

— Зато вы страдаете безупречно. В выглаженном камзоле и с чистыми руками.

Чернышев посмотрел на ладонь, которой держал бокал.

— Руки никогда не бывают чистыми. Некоторые просто лучше отмывают кровь.

— Тем лучше, — сказала я. Голос прозвучал ровно. — Надеюсь, она сделает его счастливым.

— Вы плохо лжёте.

— Зато вы хорошо. Мы могли бы открыть общее дело.

Я направилась к двери.

— Моё предложение остаётся в силе, — произнёс Чернышев.

— Тогда купите кольцу отдельную тарелку. Ему будет одиноко.

Он не остановил меня.

Я дошла до лестницы с прямой спиной. Прошла мимо слуг, поднялась на второй этаж, улыбнулась горничной. Только оказавшись в комнате, захлопнула дверь и прижала ладонь ко рту.

Крик всё равно вырвался.

Я упала на колени. Корсет сдавил грудь, рёбра загорелись. Хотелось разорвать платье, кожу, добраться до сердца и выскрести оттуда Григория. Я представляла его с Татьяной и задыхалась, будто она целовала не его — закрывала губами мой рот, не позволяя вдохнуть.

Слёзы хлынули на бархат. Я кусала ладонь, чтобы не кричать его имя.

Через несколько минут — или часов — вспомнила о Марте.

Её комнаты находились через коридор. Мне хотелось прижаться к кормилице, услышать, что Чернышев лжёт, что Гриша не мог так быстро заменить меня.

Дверь Марты оказалась открыта.

Внутри никого.

Постель застелена. Сундук исчез. На туалетном столике не было гребня, платков, баночек с травами. Только на полу возле окна лежали разорванные чётки. Белые костяные бусины раскатились по ковру, одна была раздавлена каблуком.

Я опустила и начала собирать их. Пальцы не слушались, бусины выскальзывали, укатывались под кровать. Эти чётки

Марта перебирала, когда меня уводили в монастырь. Сжимала во время суда. Целовала крест, когда корабль увозил меня на каторгу. Она скорее позволила бы отрубить руку, чем бросила их добровольно.

На ковре темнела полоска грязи, оставленная мужским сапогом. Возле двери валялся клочок коричневой шерсти — край её старой шали. Я прижала ткань к лицу. Она пахла травами, дымом и Мартой, единственным домом, который невозможно было опечатать.

— Нет, — прошептала я. — Нет, нет, нет...

В памяти возникло утро ареста Соболевского. Мужчины выдирали меня из рук кормилицы, Марта цеплялась за моё платье, падала, ползла следом, пока солдат не ударил её прикладом. Я кричала, обещала вернуться, а потом семь лет просыпалась от ощущения, что её пальцы всё ещё сжимают подол.

Теперь это произошло снова.

Только виновата была я.

Если бы приняла кольцо, Марта сидела бы рядом, ворчала, мазала мои раны. Если бы не унизила Чернышева, он не стал бы доказывать власть. Моя гордость снова ударила не по мне — по человеку, который любил меня без условий.

Я стиснула чётки в ладони. Осколок раздавленной бусины разрезал кожу, но руки уже столько раз кровоточили, что боль показалась почти родной.

— Марта! — закричала я, хотя знала, что она не ответит.

Обежала соседние комнаты, распахнула двери бельевой, кладовой, комнаты для прислуги. Слуги шарахались, опускали глаза. Никто не пытался остановить, и это пугало сильнее сопротивления: им заранее приказали позволить мне убедиться, что искать некого.

— Марта?

Я заглянула за ширму, распахнула гардероб. Пусто.

В коридоре появилась горничная.

— Где моя кормилица?

Девушка побледнела.

— Не знаю, сударыня.

— Знаешь. Говори!

Я схватила её за плечи. Она вскрикнула.

— Увезли утром! Александр Захарович приказали приготовить экипаж. Она не хотела, кричала, что не оставит вас...

— Куда?

— Не знаю! Клянусь!

Я отпустила служанку и побежала вниз. Боль пронзала бок при каждом шаге, но я неслась, хватаясь за перила. В столовой уже убрали обед. Чернышев стоял у окна. Кольцо лежало на блюде, вымытое и сверкающее.

— Где Марта?

— В безопасном месте.

— Верните её.

— Вы отказались от моей защиты. Я решил, что она не распространяется на ваших людей.

— Вы похитили старую женщину!

— Отправил туда, где она не будет помогать вам совершать глупости.

Я ударила его. Голова Чернышева повернулась, на щеке загорелся след ладони.

Он медленно посмотрел на меня.

— Если с ней что-нибудь случится, я убью вас.

— Правда? — Он приблизился и указал на нож для фруктов. — Попробуйте.

Я схватила нож. Серебряное лезвие оказалось коротким, но острым. Приставила к его жилету, прямо между рёбер. Чернышев не шевельнулся. В серых глазах не было страха — одно мрачное любопытство.

— Давите сильнее, — тихо сказал он. — Через шёлк, рубашку, кожу. Потом лезвие упрётся в кость. Придётся повернуть. Вы готовы почувствовать, как чужое мясо сопротивляется вашей руке?

Меня затошнило. Я помнила мясо Николая на эшафоте, кровь на песке. Нож задрожал.

Чернышев накрыл мою руку своей и надавил. Остриё прокололо ткань, на серебряном жилете выступила крошечная алая точка.

— Ну же. Свобода редко достаётся без крови.

Я выронила нож.

Он звякнул о паркет. Чернышев вытер кровь белой салфеткой.

— Вот поэтому пока решения принимаю я.

— Верните её, — повторила я, захлёбываясь слезами. —

Пожалуйста.

Чернышев взял с блюда кольцо и положил передо мной.

— Вы знаете цену.

Сапфир сверкнул между нами, холодный и синий, как глаза мертвеца. Я поняла: Чернышев не просил моей руки. Он требовал, чтобы я сама надела цепь и поблагодарила за её красоту.

Глава 7

Я пришёл к Завадским убивать.

Не шпагой, не пулей и даже не руками — хотя последние чесались так, что пальцы сводило судорогой. Я собирался убить ту часть себя, которая всё ещё принадлежала Кате, и для этого выбрал самое красивое оружие Петербурга.

Татьяна Завадская стояла в центре бальной залы под водопадом свечей. Изумрудное платье облегло её высокую грудь и тонкую талию, тёмные кудри были подняты и скреплены бриллиантовыми шпильками, а несколько локонов касались открытых плеч. Зелёные глаза сверкали, как кошачьи, — лениво, опасно, уверенно. Вокруг неё толпились мужчины, каждый готов был немедленно умереть, если она хотя бы притворится, что заметила жертву.

Она заметила меня сразу.

Улыбка дрогнула, веер замер возле губ. Татьяна оглядела белый мундир, серебряное шитьё, перевязанную руку, остановилась на моём лице. Я побрился, собрал волосы чёрной лентой и тщательно спрятал под воротом всё, что осталось от нескольких дней в трактире. Только глаза невозможно было отмыть. В них по-прежнему гнила любовь.

Я поклонился хозяйке дома, сказал положенные слова её матери, позволил старому князю похлопать себя по плечу и пошутить о моей неожиданной трезвости. Потом направился

прямо к Татьяне.

Мужчины расступались нехотя. Один из них, молодой корнет с пухлыми губами, попытался сохранить место возле красавицы.

— Граф, мы как раз обсуждали новую оперу.

— Теперь обсудите её в другом конце залы.

Корнет покраснел.

— Я не закончил.

— Зато я начал.

Татьяна прикрыла улыбку веером.

— Идите, Сергей Михайлович. Иначе граф Никитин вызовет вас на дуэль, а я не хочу, чтобы кровь испортила новый паркет.

— Для его крови паркета не жалко, — сказал я.

Корнет ушёл, бросив на меня взгляд, обещавший продолжение. Плевать. Сегодня мне хотелось драться даже с зеркалом, если отражение посмотрит недостаточно почтительно.

Татьяна протянула руку.

— Не ожидала вас увидеть.

Я коснулся губами её пальцев. Кожа пахла розовым маслом. Мягкая, тёплая, ухоженная. Никаких порезов от кандалов, следов работы, ожогов. Не Катины руки.

— А я ожидал, что вы будете ждать.

— Какая самоуверенность.

— Разве ошибся?

Её ресницы дрогнули.

— Возможно, ждала. Но не собиралась признаваться.

— Уже признались.

— Вы невыносимы.

— Мне это часто говорят женщины, которые хотят меня поцеловать.

Я видел, как изменилось её дыхание. Грудь приподнялась, щёки едва заметно порозовели. Раньше это доставило бы удовольствие. Сегодня чужое желание ощущалось грязью на коже.

Оркестр заиграл менуэт. Я положил руку на сердце.

— Окажите честь.

Татьяна вложила пальцы в мою ладонь.

Мы вышли в круг. Десятки взглядов немедленно прилипли к нашим спинам. Именно этого я хотел. К утру весь двор узнает: граф Никитин вернулся к Завадской. К полудню новость достигнет дома Чернышева. А вечером Катя представит мои руки на другой женщине и почувствует хотя бы со-тую часть того, что испытал я, читая её письмо.

Татьяна двигалась безупречно. Лёгкая, грациозная, воспитанная для придворных зал. Когда мы сходились, я ощущал тепло её тела, видел тонкую голубую жилку возле груди. Она смотрела прямо, не прятала желания.

Катя краснела от одного взгляда. Опускала ресницы, потом внезапно поднимала синие глаза — и меня словно стл-кивали с обрыва.

Я сжал пальцы Татьяны сильнее.

— Вы причиняете мне боль, — тихо сказала она.

— Простите.

— Не похожи на человека, которому жаль.

— Сегодня мне никого не жаль.

— Даже себя?

— Себя особенно.

Она внимательно посмотрела, но музыка развела нас. Я улыбнулся женщине напротив, поклонился, повернулся в положенном месте. Каждое движение было выверено, а внутри меня по рёбрам метался зверь, чужая Катю даже там, где её не было.

После танца Татьяна не отпустила руку.

— Благодарю, граф.

Я должен был поклониться и отойти. Так требовали приличия: один танец — любезность, два подряд — заявление. Вокруг нас уже шептались. Княгиня Завадская наблюдала за дочерью поверх веера, старый князь улыбался в усы. Он видел во мне титул, имя, молодое поместье и будущих внуков с правильной кровью.

Я представил, как слух достигнет Кати. Чернышев входит к ней с газетой, читает заметку: «Граф Никитин весь вечер оказывал знаки внимания княжне Завадской». Катя побледнеет. Спросит, танцевали ли мы. Услышит — один раз — и убедит себя, что это случайность.

Одного было мало.

— Следующий танец тоже мой, — сказал я.

Татьяна медленно закрыла веер.

— Вы понимаете, что делаете?

— Впервые за несколько дней.

— Если пригласите меня дважды, завтра объявят о нашей помолвке.

— Пусть объявляют.

Её глаза вспыхнули такой надеждой, что на мгновение мне стало стыдно. Я тут же задушил это чувство. Сегодня каждая женщина должна была заплатить за одну.

Заиграли контрданс. Танец был живее менуэта, пары сходились, расходились, менялись местами. Я улыбался Татьяне, наклонялся ближе положенного, позволял пальцам задерживаться на её талии. Когда мы проходили мимо зеркальной стены, видел идеальную пару: темноволосый офицер в белом мундире и красавица в изумрудном платье. Ни грязи, ни тюрем, ни казнённых мужей. Нас можно было поставить на камин и показывать гостям.

Только внутри меня Катя кричала.

Я слышал её в музыке, в стуке каблуков, в каждом шорохе женских юбок. Видел золотые волосы вместо тёмных кудрей. Сжимал руку Татьяны и помнил тонкие пальцы, цеплявшиеся за мою рубаху на корабле.

— Вы опять не со мной, — сказала Завадская, когда танец свёл нас.

— Ошибаетесь.

— Тогда какого цвета мои глаза?

Вопрос застал врасплох.

— Зелёные.

— А сейчас вы видите синие.

Я сбился с шага и наступил ей на туфельку. Татьяна поморщилась, но продолжила танец.

— Не произносите её имя, — предупредил я.

— Я не произносила. Это вы носите его на лице, как приговор.

Танец закончился. Аплодисменты ударили по ушам. Татьяна присела в реверансе, я поклонился. Люди смотрели, улыбались, запоминали. Убийство состоялось: к утру слух должен был добраться до Кати.

Но вместо облегчения я почувствовал, будто собственноручно перерезал последнюю нить между нами.

— Прогуляемся? Здесь душно.

Мы вышли в зимний сад. В кадках темнели апельсиновые деревья, по стеклянной крыше стучал снег. Воздух пах влажной землёй и цитрусами. За дверями продолжала звучать музыка.

— Что с вами произошло? — спросила Татьяна.

— Скучал.

— По мне?

— По возможности вас захотеть.

Она отшатнулась, словно получила пощёчину.

— Как любезно.

— Вы предпочитаете ложь?

— От вас — хотя бы красивую.

Я подошёл ближе, взял её за талию. Татьяна не сопротивлялась, но спина напряглась под ладонью.

— Вы прекрасны.

— Знаю.

— Желанны.

— Не вами.

— Дайте время.

— Сколько? Пока другая женщина не исчезнет из вашей крови?

Имя не прозвучало, но я услышал его.

— Не говорите о ней.

— Я и не говорила.

— Именно поэтому.

Я притянул Татьяну. Её грудь прижалась к мундиру, дыхание коснулось губ. Она закрыла глаза.

Поцелуй должен был быть простым. Я целовал сотни женщин — в спальнях, каретах, тёмных коридорах, на сеновале. Никогда не спрашивал себя, что чувствую. Тело знало раньше разума.

Но когда мои губы коснулись её рта, меня вывернуло до мурашек вдоль позвоночника.

Не тот вкус.

Не те губы.

Не она.

Я попытался сильнее. Вдавил Татьяну спиной в ствол

апельсинового дерева, запустил руку в кудри, раскрыл её рот языком. Она ответила — горячо, смело, обвила шею руками. Любой мужчина обезумел бы от счастья.

Моя ладонь скользнула по её талии, ниже, к округлому бедру. Татьяна тихо застонала и прижалась ближе. Я чувствовал мягкость груди, жар тела под тяжёлым бархатом, быстрые удары сердца. Тело всё-таки отозвалось — слабым, злым напряжением, рождённым не желанием к ней, а яростью на другую.

Я представил, что Катя видит нас. Стоит за стеклянной дверью, бледная, с огромными глазами, и смотрит, как я задираю чужую юбку. Эта мысль подстегнула. Я сжал бедро Татьяны так сильно, что она вскрикнула, поцеловал шею, оставляя след, который завтра заметит весь двор.

— Григорий... — выдохнула она.

Не то имя. Она произнесла правильно, но не тем голосом.

Катя говорила «Гриша», и два мягких слога разносили меня на части сильнее пушечного ядра. Татьяна называла титул, фамилию, мужчину, которого хотела получить. Катя звала того дикого, ревнивого ублюдка, которого видела насквозь и всё равно однажды выбрала.

Я закрыл глаза, заставил себя представить под ладонями золотые волосы, белую кожу, маленькую грудь с розовым соском. На мгновение обманул тело. Прижал Татьяну сильнее, и она почувствовала моё возбуждение, удовлетворённо улыбнулась в поцелуй.

От этого стало совсем мерзко.

Я использовал одну женщину как пустую оболочку, чтобы внутри неё вообразить другую. Именно так поступал в притонах после первого побега Кати. Ничему не научился. Только мундир стал дороже, а шлюха теперь имела княжеский титул.

А я увидел Катю.

Разбитые губы, золотые волосы, слёзы на ресницах. Увидел, как она лежала подо мной на корабле, полураскрытая, испуганная и всё равно тянувшаяся навстречу. Услышал: «Гриша мой».

Внутри всё умерло.

Я отпрянул так резко, что Татьяна едва не упала.

Она смотрела на меня, тяжело дыша. Губы припухли, помада размазалась, в зелёных глазах блестели слёзы.

— Не получилось? — спросила она.

Я отвернулся.

— Простите.

— Не смейте.

— Что?

— Не смейте просить прощения таким голосом, будто случайно наступили на подол. Вы только что использовали меня, чтобы проверить, способен ли ваш член забыть другую женщину.

Слова ударили точно. Я сжал челюсти.

— Вы сами хотели поцелуя.

— Хотела вас. Не её призрак между нашими ртами.

Татьяна вытерла губы тыльной стороной ладони. На белой коже остался красный след. Потом засмеялась — тихо, надломленно.

— Как унизительно. Самая желанная женщина двора не смогла возбудить пьяного распутника.

— Я не пьян.

— Это делает ещё хуже.

Я хотел уйти, но она схватила меня за рукав.

— Нет. Вы пришли причинить боль — получите удовольствие до конца. Посмотрите на меня.

Пришлось повернуться. Слеза скользнула по её щеке, оставив дорожку в пудре. Татьяна Завадская никогда не плакала при мужчинах. Я знал, потому что мужчины хвастались каждой её эмоцией, как военным трофеем.

— Вы любите её? — спросила она.

— Нет.

— Лжец.

— Ненавижу.

— Это не ответ.

Я посмотрел через стекло на снег. Он падал крупными хлопьями, скрывая город.

— Люблю так, что хочу разорвать её собственными руками. Представляю рядом с другим и не понимаю, кого убить первым — его, её или себя. Довольно честно?

— Почти.

— Она выбрала Чернышева.

Татьяна замерла.

— Что?

— Ушла к нему из крепости. Написала, что остаётся добровольно. Собирается стать его женой.

Зелёные глаза сузились.

— Покажите письмо.

— С какой стати?

— Потому что граф Чернышев приезжал ко мне за день до её исчезновения.

Кровь застыла.

— Зачем?

— Расспрашивал о вас. О наших отношениях. Хотел знать, можно ли убедить княгиню Потоцкую, что мы помолвлены.

Я схватил её за плечи.

— Что вы сказали?

— Правду. Что вы никогда не делали предложения, но я не отказала бы.

— Он просил распространять слухи?

— Не просил. Ему не понадобилось. Через два дня несколько дам начали поздравлять меня с вашим выбором. Я решила, что вы наконец образумились.

Меня затрясло. Пальцы сдавили её плечи.

— Вы знали, что это ложь, и молчали?

— Я надеялась, что слух станет правдой!

Я толкнул её к стеклянной стене. Горшок с деревом качнулся, на пол посыпалась земля.

— Из-за вас она поверила, что я с другой!

Татьяна побледнела, но не отвела глаз.

— Не из-за меня. Из-за мужчины, который заранее приготовил ей эту ложь. И из-за вас, Григорий Сергеевич. Если бы она доверяла вам, одной сплетни оказалось бы недостаточно.

Я сдавил сильнее. Под пальцами были тонкие кости. Ещё немного — останутся синяки, такие же, какие я видел на Кате.

Отдёрнул руки.

— Простите.

— Снова это слово. У вас оно дешевле кабацкой водки.

Татьяна поправила платье.

— Письмо написано её рукой, — сказал я. — Там то, чего Чернышев знать не мог.

— Мог, если стоял рядом и заставлял.

— Она написала, что он не прикасался без позволения.

— О, тогда всё ясно. Женщина, запертая в чужом доме, непременно подробно сообщает возлюбленному, насколько деликатен её тюремщик.

Сарказм разрезал туман в голове.

Я вспомнил Глеба: «Здесь слишком много доказательств подлинности».

— Белая роза, — прошептал я.

— Что?

— В письме был лепесток из её сада. Чернышев заранее собирал доказательства.

Сердце грохотало так, что становилось больно дышать. Катя не выбрала его. Возможно, в эту минуту ждала, что я пойму. А я танцевал с Завадской, целовал её, собирался сообщить всему двору, что заменил одну женщину другой.

Меня затошнило от самого себя.

— Когда Чернышев был у вас, он сказал что-нибудь ещё? Татьяна отвернулась.

— Сказал, что к концу недели увезёт княгиню из Петербурга.

— Куда?

— Не знаю. Но упомянул корабль и Ригу. Возможно, намеренно, чтобы запутать.

Я рванулся к двери.

— Григорий!

Остановился, но не обернулся.

— Вы снова уходите, растоптав меня?

— Я никогда не обещал любви.

— Нет. Только позволили надеяться, когда вам понадобилось оружие.

Я повернулся. Татьяна стояла среди рассыпанной земли, прекрасная и униженная, с размазанными губами и слезами на лице.

— Почему вы помогли?

Она гордо подняла подбородок.

— Потому что хочу победить женщину, а не пленницу. И потому что, каким бы ничтожеством вы ни были, я люблю вас достаточно, чтобы не смотреть, как другой мужчина вырывает вам сердце.

Мне нечего было ответить.

Я поклонился и вышел.

В бальной зале начался второй танец. По правилам я должен был пригласить другую даму, чтобы не вызвать пересудов. Вместо этого пересёк залу, не замечая взглядов, схватил плащ и выбежал на крыльцо.

Снег ударил в лицо. Ветер ворвался под мундир, но я не чувствовал холода.

Катя ждала меня.

Возможно, ненавидела. Возможно, уже перестала верить. Но она была в доме мужчины, который готовил ложь ещё до её побега.

Я вскочил в седло.

— В Покровское! — крикнул кучеру, затем опомнился. — Нет. Домой. К Глебу.

Нам снова был нужен план дома Чернышева.

Глеб встретил меня в прихожей. Ещё не спал — стоял над разложенными бумагами в кабинете, словно заранее знал, что я вернусь. Увидев размазанную на губах помаду Татьяны, он помрачнел.

— Быстро исполнил последнее желание.

— Письмо поддельное.

Он не спросил, откуда знаю. Только закрыл глаза и медленно выдохнул, будто всё это время удерживал на плечах дом и наконец получил разрешение поставить его обратно на землю.

— Завадская?

— Чернышев приезжал к ней до побега Кати. Заранее готовил слух о нашей помолвке. К концу недели собирается увезти её из города.

Глеб посмотрел на камин. Утром там сгорел план.

— Второй копии нет.

— Достанем.

— За одну ночь?

— Нарисуем по памяти.

Я смахнул со стола бумаги, развернул чистый лист и взял угольный карандаш. Рука дрожала не от вина — от ярости, надежды и страха, что снова опоздаю на несколько часов.

— Южная стена здесь, — сказал Глеб, наклоняясь рядом.

— Сад. Служебный проезд.

— Голубые покои на втором этаже.

— Откуда знаешь?

— Не знаю. Но найду каждую комнату.

Мы рисовали дом мужчины, который думал, что спрятал от меня Катю. Линия за линией, окно за окном. Под утро к нам присоединился Волков, молча принёс оружие и положил на стол три заряженных пистолета.

На этот раз я собирался успеть.

Я стёр с губ остатки помады Завадской, но красный след остался на платке, похожий на кровь. Когда найду Катю, она, возможно, почувствует чужой запах и поймёт, чем я пытался ей отомстить. Возможно, ударит. Возможно, никогда не простит.

Плевать.

Пусть ненавидит меня живой, свободной и рядом. Ненависть я выдержу. Ещё одного опоздания — нет.

Если Чернышев успел прикоснуться к ней, я вырву из него признание вместе с языком. Если заставил плакать, утоплю в его собственной крови. А если Катя сама прикажет уйти — выслушаю только после того, как вынесу её за ворота.

Только теперь я собирался войти не через окно.

Я собирался снести стену.

Глава 8

Я надела кольцо.

Не потому, что согласилась стать женой Чернышева. Потому что сапфир оказался ключом, а ключи не обязаны любить замки, которые открывают.

Граф наблюдал, как я протягиваю руку. Его лицо оставалось спокойным, но я увидела короткую вспышку в серых глазах — ту самую, которую мужчины принимают за победу, когда женщина перестаёт сопротивляться вслух. Он медленно надел кольцо на мой палец. Камень был холодным, тяжёлым, будто мне привязали к руке кусочек зимнего неба и приказали носить до смерти.

— Разумное решение, — произнёс он.

— Я сказала, что подумаю.

— Для вас это почти согласие.

— Для вас любое дыхание женщины — согласие, если она делает вдох в вашем доме.

Пальцы Чернышева задержались на моём запястье.

— Марта вернётся, когда я буду уверен, что вы не попытаетесь бежать.

— Значит, никогда.

— Ценю честность.

— А я вашу — особенно когда она звучит как угроза.

Я выдернула руку. Сапфир вспыхнул на солнце. Хотелось

содрать его вместе с кожей, но я заставила себя улыбнуться.

— Раз уж мы почти помолвлены, будущей графине необходимо привыкнуть к дому. Разрешите мне хотя бы выходить во двор без двух вооружённых нянек.

— Зачем?

— Посмотреть лошадей. Или вы боитесь, что я ускачу через каменную стену?

— После знакомства с вами я боюсь даже того, что вы прогрызёте её зубами.

— Тогда прогулки полезны. Свежий воздух укрепляет зубы.

Он рассмеялся. Негромко, искренне — впервые при мне. На мгновение Чернышев стал моложе: исчезла жёсткая складка возле рта, потеплели глаза. Я поняла, почему женщины могли считать его привлекательным, и от этой мысли стало противно. Чудовища не обязаны быть уродливыми. Иногда они хорошо одеты, пахнут дорогим табаком и умеют смеяться именно тогда, когда жертве хочется их ненавидеть.

— Хорошо. Можете гулять в саду и посещать конюшню. Один слуга будет следовать на расстоянии.

— Без ружья?

— С ружьём.

— Какая трогательная вера в мою покорность.

— Покорность мне неинтересна. Она быстро надоедает.

— Поэтому выбрали меня?

Его взгляд скользнул к моим губам.

— В том числе.

Кожа на спине стянулась ледяной рябью, но я не отступила. Если он решил, что кольцо превратило пленницу в невесту, пусть наслаждается заблуждением.

Весь оставшийся вечер я училась не замечать сапфир. Он цеплялся за кружево рукава, ударялся о фарфоровую чашку, вспыхивал в зеркалах спальни, и каждый раз мне казалось, что Чернышев расставил по комнате десятки маленьких синих глаз, чтобы даже в одиночестве я помнила, кому теперь принадлежит моя дверь, мой сон, каждый глоток воды. Я пыталась снять кольцо, лишь проверить, не приросло ли оно к коже, но палец распух, и золотой ободок не поддался. Тогда я дёрнула сильнее, до боли, до красной полосы, до яростных слёз, которые обожгли лицо. Хотелось сломать себе сустав, содрать ноготь, оставить этот проклятый блеск вместе с куском плоти на ковре, лишь бы не видеть на своей руке обещание другому мужчине.

Но за стеной стоял караульный. Где-то в чужом доме Марта, возможно, ждала, когда я перестану быть гордой и начну быть умной. Я прижала кулак к груди и заставила себя дышать.

— Это не обручение, — сказала женщине в зеркале. Бледной, с фиолетовой тенью возле глаза, с распущенными волосами и шеей, на которой проступали следы пальцев покойного мужа. — Это оружие.

Женщина не поверила. Она смотрела на меня глазами

предательницы.

На следующий день я вышла во двор.

Горничная принесла тёмно-зелёное суконное платье для прогулок, отделанное чёрным мехом, и короткий бархатный салоп. Всё сидело безупречно, словно мерку снимали с моего тела ещё до того, как меня привезли в этот дом. Под юбками шелестели накрахмаленные нижние юбки, корсаж так туго стиснул рёбра, что каждый вдох напоминал: свободу мне выдали лишь с виду. Чернышев одевал свою будущую жену так же, как украшал комнаты: дорого, безупречно и не спрашивая, хочет ли вещь принадлежать ему.

Мороз ударил в лицо, выжег из лёгких затхлый воздух комнат. Я остановилась на крыльце и долго дышала, не замечая боли. После нескольких дней за запертой дверью даже серое небо казалось свободой. Снег искрился на крышах, из труб поднимался дым, по мощёному двору сновали слуги. У ворот стояли двое караульных. Тяжёлая перекладина лежала на месте.

За мной шёл лакей Фёдор — высокий, костлявый, с ружьём на плече и выражением человека, которому поручили стеречь бешеную кошку.

— Если я побегу, будете стрелять? — спросила я.

— Не могу знать, сударыня.

— Представьте, что уже побежала.

Он растерялся.

— Приказано остановить.

— Куда целиться?

— В воздух.

— Надеюсь, воздух погибнет быстро и без мучений.

Фёдор едва сдержал улыбку. Значит, не самый преданный из псов Чернышева. Я запомнила.

Конюшня была тёплой, наполненной запахом сена, кожи и лошадиного пота. В стойлах переступали породистые жеребцы, на стенах висели новые сёдла, уздечки, попоны с вышитым гербом. Я провела ладонью по морде гнедой кобылы. Животное ткнулось мягкими губами в пальцы, и к горлу подступили слёзы.

Вспомнила Ветра. Чёрного красавца Гриши, который принёс раненого хозяина прямо к моему дому. Как будто сам знал, куда везти.

Теперь Гриша, возможно, касался Татьяны теми руками, которыми когда-то держался за гриву Ветра и за меня.

Я увидела это так ясно, что под рёбра словно вошёл тонкий нож: Татьяна в расшитом золотом платье, прекрасная, спокойная, законная рядом с ним; его тёмная голова склоняется к её плечу; его ладонь ложится ей на талию без ненависти, без стыда, без той обречённости, с которой он касался меня. Может быть, он уже прочёл моё лживое письмо и поверил каждому слову. Может быть, проклял, рассмеялся, смял лист и позволил другой женщине утешить себя. Я сама велела ему забыть меня чужими фразами, а теперь ревность грызла изнутри так яростно, будто под кожей поселился го-

лодный зверь и ломал зубы о мои кости.

«Живи», — хотела написать я.

«Умри без меня», — шептало во мне что-то мерзкое и любящее.

Если бы он сейчас вошёл в конюшню, я не знала, что сделала бы сначала: ударила его за Татьяну, сорвала с пальца сапфир или упала на колени и обхватила его сапоги, лишь бы он не уходил. От этой мысли стало страшнее, чем от решёток. Чернышев мог запереть моё тело, Николай успел унижить и искалечить его, но Гриша владел той частью меня, до которой не дотягивались ни замки, ни палачи. И именно поэтому мог уничтожить одним взглядом.

Сапфир на пальце стал тяжелее.

— Красавица, — раздался за спиной молодой голос. — Только норов дурной. Кусается.

Я обернулась.

Возле соседнего стойла стоял худой конюший в грубой серой рубаше, жилете из потёртой кожи и высоких сапогах. Чёрные кудри падали на лоб, лицо было перепачкано сажей, но серьгу в левом ухе спрятать не удалось. Она блеснула, когда юноша поднял голову.

Чёрные глаза встретились с моими.

Сердце остановилось.

Миро.

Он изменился за эти месяцы. Вытянулся, плечи стали шире, детская округлость исчезла с лица, обнажив резкие ску-

лы и гордый изгиб бровей. Но взгляд остался прежним — ярким, восторженным, слишком открытым.

Я едва не произнесла имя. Миро быстро приложил палец к губам и поклонился.

— Если сударыня желает покататься, лучше выбрать белую кобылу. Она спокойная.

— Я предпочитаю тех, кто кусается.

— Сразу видно.

Фёдор остановился у дверей. Слышать не мог, но видел нас.

Я подошла к гнедой. Миро склонился, будто проверяет подпругу.

— Не смотрите на меня, — прошептал он. — Иначе ваш хвост поймёт.

— Что ты здесь делаешь?

— спасаю вас.

— Кто просил?

— Ваши глаза в таборе. Они кричали громче рта.

— Уходи. Если Чернышев узнает, тебя повесят как вора.

Миро усмехнулся.

— Сначала поймать надо.

— Это не игра.

— Я знаю. Видел, как увезли вашу старуху.

Я схватилась за седло, чтобы не упасть.

— Марту? Где она?

— Тише.

— Он навредил ей?

— Жива. Её отвезли в маленький дом возле Смольного монастыря. Держат две женщины и один вооружённый мужчина. Мои люди следят.

Воздух вернулся в лёгкие так резко, что стало больно. Марта жива. Не в тюрьме, не в опечатанном имении. Всего в нескольких верстах.

— Почему не освободили?

— Марал запретила. Сказала, сначала надо вытащить вас. Если заберём старуху, граф поймёт, что за ним следят, и перевезёт вас обеих.

— Марал знает?

— Она знает всё, — с гордостью ответил он. — Увидела во сне золотую птицу в серебряной клетке. Велела найти.

— А ты всегда исполняешь материнские сны?

— Только когда во сне вы.

Я бросила на него предостерегающий взгляд. Миро опустил голову, но улыбка осталась.

— Не говори глупостей. Ты почти ребёнок.

— Через три месяца семнадцать.

— Вот именно.

— Мужчины моего народа в семнадцать уже имеют детей.

— Тогда найди жену своего возраста и оставь замужних княгинь в покое.

— Вы теперь вдова.

Слова ударили. Николай снова лежал на плахе, поднимая

волосы, чтобы палачу было удобнее.

Миро заметил, как я побледнела.

— Простите. Я не хотел.

— Все мужчины не хотят. А потом почему-то становится больно.

Он протянул руку к моему лицу, но остановился, не коснувшись. Взгляд упал на желтеющий синяк возле глаза, на следы пальцев у шеи. Чёрные глаза потемнели.

— Это муж?

Я отвернулась.

— Не смотри.

— Он бил вас?

— Его казнили. Твоя ярость опоздала.

— А этот?

Миро кивнул в сторону дома.

— Пока нет.

— Но запер.

— Ты слишком много знаешь.

— Я три дня здесь. Слышу слуг. Видел кровь на двери вашей комнаты, когда носил дрова. Видел, как увезли няню. Граф хочет, чтобы вы стали его женой.

Я спрятала руку с кольцом в складках плаща. Поздно. Мир уже заметил сапфир.

Его лицо изменилось. Восторг погас, рот сжался.

— Вы согласились?

— Не твоё дело.

— Значит, да.

— Я сказала, что подумаю, чтобы выйти из комнаты.

— И кольцо надели, чтобы лучше думалось?

Сарказм мальчишки разозлил сильнее, чем насмешки взрослых мужчин.

— Чтобы найти Марту. Чтобы получить возможность выйти во двор. Чтобы встретить неблагодарного цыганёнка и выслушать его нравоучения.

— Я не ребёнок.

— Тогда не веди себя как ревнивый мальчик.

Миро резко отвернулся, взял щётку и принялся чистить лошадь. Движения были злыми, отрывистыми.

— Я не ревную.

— Конечно. Просто пытаешься содрать с кобылы кожу.

— Мне неприятно видеть на вас его кольцо.

— А мне неприятно носить. Но свобода редко выглядит красиво.

Он замер. Потом повернулся и тихо спросил:

— Вы хотите уйти?

Я посмотрела на Фёдора у дверей, на охрану во дворе, на высокий каменный забор.

— Больше всего на свете.

— Тогда уйдёте.

— Всё просто?

— Нет. Будет опасно, грязно и, возможно, больно. Зато не надо выходить замуж.

— Убедительная часть плана.

— Есть ещё одна убедительная часть.

Миро сунул руку за пазуху и незаметно вложил мне в ладонь узкую костяную рукоять. Маленький нож спрятался в складках перчатки, холодный и настоящий. Я сжала пальцы, почувствовала острие сквозь ножны и едва не застонала от облегчения. За последние дни все мужчины давали мне только то, чем можно было владеть мною: кольцо, платье, комнату, пищу, жизнь Марты на привязи. Миро впервые дал мне возможность защищаться.

— Если поймают, — прошептал он, не глядя на меня, — режьте не себя. Обещайте.

Я вскинула глаза. На его юном лице не осталось ни дерзости, ни ревности — только страх, такой взрослый и беспомощный, что у меня сдавило горло.

— Почему ты подумал, что я могу?

— Потому что вы смотрите на двери так, будто за ними не свобода, а край крыши. Мать сказала: пленённые птицы иногда разбивают голову о прутья, если не могут их раздвинуть.

Я спрятала нож в карман салопы.

— Передай Марал: эта птица сначала выключает глаза хозяйину клетки.

Миро коротко улыбнулся.

— Вот теперь узнаю мою золотую княгиню.

— Я не твоя.

— Знаю, — ответил он, и в двух слогах оказалось больше боли, чем в иной исповеди. — Но спасти можно и тех, кто никогда не станет твоим.

Миро приблизился, будто поправляя стремяна.

— Через два дня Чернышев даёт приём. Съедутся гости, кареты заполнят двор. Я подожгу дальний сенник. Пока все будут спасать лошадей, переоденетесь служанкой и выйдете через кухню.

— Ворота закроют при пожаре.

— Вы не пойдёте через ворота.

— А через что?

— Под старой конюшней есть водосток. Его заложили решёткой, но прутья проржавели. Я уже спилил два.

— Откуда ты знал, что я соглашусь?

— Не знал. Но готовился.

Так же, как Чернышев готовил комнату, платье, письмо и кольцо. Только один заранее строил клетку, а другой — выход.

— Марта?

— Заберём после вас. В ту же ночь.

— Нет. Сначала её.

— Если что-то пойдёт не так, вас перевезут, и мы потеряем след.

— Я не уйду без неё.

— А она уйдёт без вас? — Миро посмотрел прямо. — Если освободить её первой, старая женщина прибежит сюда

и поднимет крик. Она любит вас больше собственной жизни. Поэтому и должна ждать.

Я понимала, что он прав, и ненавидела его за это.

— Куда мы пойдём?

— В табор. Марал спрячет.

— Чернышев найдёт.

— Только если земля расскажет, куда ушли цыгане.

В конюшню вошёл старший конюх. Миро сразу отступил.

— Что за разговоры? Работай, оборванец!

— Да, хозяин.

Я погладила гнедую и направилась к выходу. На пороге Миро громко сказал:

— Сударыня, приходите завтра. Я подготовлю белую кобылу.

Не оборачиваясь, ответила:

— Приготовь ту, что кусается.

Во дворе Фёдор пошёл следом. Я чувствовала сапфир на пальце и тайну под сердцем. Впервые за несколько дней внутри теплилось нечто похожее на надежду. Маленькое, болезненное, опасное.

На крыльце стоял Чернышев.

Он смотрел на меня, потом перевёл взгляд на двери конюшни.

— Нашли подходящую лошадь?

— Да. Норовистую.

— Не советую. Вы ещё слабы.

— Я всегда выбираю тех, кто может сбросить.

Граф взял мою руку и коснулся губами сапфира. Жест жёсткий, безупречный для наблюдавших слуг. Его рот был холодным.

— Вижу, вы привыкаете к кольцу.

— К кандалам тоже привыкают. Это не значит, что их перестают ненавидеть.

— Через два дня приедут гости. Я намерен объявить о нашей помолвке.

Сердце дёрнулось.

Тот самый вечер.

— Вы торопитесь.

— Боюсь, что невеста сбежит.

Он улыбнулся, но серые глаза оставались внимательными. Слишком внимательными.

Я улыбнулась в ответ.

— Куда мне бежать, Александр Захарович? Вы ведь отняли всё, к чему я могла вернуться.

— Именно поэтому вам придётся остаться.

Он проводил меня до дверей. Я чувствовала его ладонь на пояснице и едва удерживалась, чтобы не отшатнуться. В голове звучал голос Миро: «Через два дня».

Когда мы вошли в дом, Чернышев подозвал Фёдора.

— Кто разговаривал с княгиней в конюшне?

Лакей побледнел.

— Новый мальчишка, ваше сиятельство. Конюх нанял

вчера.

Чернышев посмотрел на меня.

— О чём беседовали?

Я почувствовала, как надежда внутри сжалась в ледяной комок.

— О лошадях, — ответила я. — В отличие от мужчин, их дурной нрав хотя бы не скрывают за хорошими манерами.

Чернышев улыбнулся.

— Позовите мальчика ко мне.

Фёдор поклонился и направился к конюшне.

Я услышала, как захрустел снег под его сапогами, и каждый шаг отозвался во мне ударом молота. Хотелось броситься следом, закричать, предупредить Миро, но ладонь Чернышева уже лежала у меня на локте — мягко, почти ласково, а пальцы сжимались так, будто он нащупал под рукавом биение моей тайны. Если мальчишку приведут, граф узнает его. Если обыщут — найдут подпиленную решётку. Если станут пытаться, он может произнести имя Марты, Марал, моё. Надежда, которой я позволила прожить несколько минут, теперь стояла в конюшне с петлёй на юной шее, и эту петлю затягивала я сама своим неосторожным взглядом. И спасения не будет.

Александр Захарович подал мне руку.

— Идёмте же, дорогая. Пока вы выбирали лошадь, я выбрал дату нашей свадьбы.

Глава 9

Миро привели прежде, чем я успела придумать убедительную ложь.

Он вошёл в малую гостиную между Фёдором и старшим конюхом, худой, перепачканный сажей, в грубой рубаше, с которой кто-то предусмотрительно сорвал кожаный жилет, прятаящий костяную рукоять второго ножа. Чёрные кудри были влажными от растаявшего снега, на скуле темнела свежая ссадина, но мальчишка держался так вызывающе прямо, словно не его привели на допрос к одному из опаснейших людей Петербурга, а он сам явился выбирать, кого сегодня пощадить.

Чернышев сидел у камина, положив ногу на ногу. На нём был домашний кафтан из тёмно-синего бархата, серебряная вышивка на обшлагах мерцала в огне, белоснежное жабо казалось вырезанным из льда. Рядом на столике дымилась чашка шоколада. Безупречный хозяин безупречного дома, которому подали на блюде чужую жизнь.

— Имя? — спросил он.

— Михайла.

— Фамилия?

— У бедных фамилий не бывает, ваше сиятельство. Только клички и долги.

Старший конюх ударил его по затылку.

Я вздрогнула сильнее Миро.

— Не трогать, — сорвалось у меня.

Чернышев поднял взгляд. В серых глазах медленно развернулось понимание, холодное, страшное, почти довольное. Я сама поднесла спичку к пороху.

— Почему же? — мягко спросил он. — Вы знакомы с мальчиком?

— Я не люблю, когда прислугу бьют в гостиных. Это портит впечатление от интерьера.

— Вас беспокоит интерьер?

— Меня беспокоит безвкусица. Кровь совершенно не сочетается с вашим французским штофом.

Миро смотрел в пол, но я видела, как побелели костяшки его пальцев. Молчать для него было мучительнее побоев. Ещё одно дерзкое слово — и Чернышев распорется в нём, как ножом, доберётся до Марал, Марты, водостока, до моей нелепой надежды.

Граф поставил чашку на блюдце и подозвал Миро двумя пальцами.

— Руки покажи.

Миро протянул ладони. На них лежали мозоли от поводов и порезы от ржавой решётки. Один был совсем свежим, затянутым чёрной ниткой. У меня пересохло в горле. Чернышев провёл ногтем по шву, и на коже выступила кровь.

— Конюх? — произнёс он задумчиво. — Или вор?

— Какая разница? И те и другие имеют дело со скотиной.

Удар был коротким. Голова Миро дёрнулась, из разбитой губы брызнула кровь. Он медленно повернул лицо обратно и улыбнулся красными зубами.

— Простите, ваше сиятельство. Я хотел сказать — с лошадыми.

Меня затрясло. Нож в кармане салопы упёрся в ладонь, требуя, чтобы я вытащила его, прошла несколько шагов и всадила под серебряный обшлаг. Я почти увидела, как это сделаю. Как разрежу спокойствие на лице Чернышева. Как Фёдор выстрелит мне в спину. Как Миро повесят утром, а Марту перевезут туда, где даже Марал не увидит её во сне.

Пришлось стоять неподвижно. Иногда любовь требует броситься под пули. Иногда — смотреть, как бьют того, кого хочешь спасти, и не выдавать себя даже криком. Второе оказалось страшнее.

— Он говорил со мной о лошадях, — сказала я. — Я спросила, какая кобыла спокойнее. Он ответил.

— Фёдор слышал разговор дольше обычного.

— Фёдор считает женские разговоры длинными, если в них больше трёх слов.

— А вы считаете меня глупцом?

— Нет. Глупцы менее опасны.

Чернышев поднялся и подошёл ко мне. Запах табака, шоколада и холодного воздуха сомкнулся вокруг горла. Он взял меня за подбородок, заставляя смотреть в его глаза.

— Тогда докажите, что мальчик вам безразличен.

— Прикажете ударить его самой?

— Это было бы пошло.

— Вы умеете удивлять.

Его большой палец коснулся моей нижней губы.

— Скажите при нём, что согласны стать моей женой. Поцелуйте меня. И я отпущу его обратно в конюшню.

Миро резко вскинул голову.

— Не смейте.

Фёдор заломил ему руку. Мальчишка застонал, упал на одно колено, но продолжал смотреть на меня с яростью, будто предавала его не я, а весь мир.

— Молчать! — рявкнул конюх.

— Пусть говорит, — остановил его Чернышев. — Невесте полезно видеть, как дорого обходятся её тайны.

Я ненавидела его так сильно, что ломило кости. Ненавидела Миро за то, что пришёл. Гришу — за то, что его не было рядом. Себя — за беспомощность, за кольцо, за дрожь, за то, что вся моя храбрость снова помещалась в чужой ладони и могла быть раздавлена одним движением пальцев.

— Отпустите его руку, — попросила я.

— Сначала слова.

Я посмотрела на Миро. Из уголка его рта стекала кровь, по юному лицу ходили желваки. Он едва заметно качнул головой.

Прости меня, мальчик.

— Я стану женой Александра Захаровича Чернышева, —

произнесла я отчётливо.

Каждое слово было гвоздём. Я сама забивала их себе под ногти и продолжала улыбаться.

— Теперь поцелуй, — прошептал граф.

Он не наклонился. Заставил меня подняться на носки, обвить пальцами его плечо и самой приблизить губы к его рту. В комнате стояла такая тишина, что я слышала, как капля крови упала с подбородка Миро на паркет.

Я поцеловала Чернышева.

Его губы были тёплыми, осторожными, почти нежными, и от этой бережности меня затошнило сильнее, чем от насилия. Он не отнял поцелуй — заставил меня подарить его при свидетелях, превратил спасение мальчишки в публичную измену мужчине, которого я любила до безумия и проклинала за то же самое.

Когда я отстранилась, по лицу текли слёзы.

Чернышев стёр одну большим пальцем и показал Миро.

— Видишь? Женщины всегда плачут, получив желаемое.

— Нет, — хрипло ответил тот. — Они плачут, когда рядом с ними мужчина, которому нечем доказать свою силу, кроме их слёз.

Чернышев побледнел. Я подумала, что сейчас он убьёт его.

Но граф лишь усмехнулся.

— Уберите мальчишку. Двадцать плетей за дерзость и отпирать за ворота.

— Нет! — Я схватила его за рукав. — Вы обещали отпустить в конюшню.

— Я обещал отпустить. Не уточнял, целым ли.

Миро поволокли к двери. Проходя мимо, он впервые посмотрел прямо на меня. В чёрных глазах не было обвинения. Только приказ.

Через два дня.

Эти два дня я прожила на звуках.

В первый вечер со двора донёсся свист плети. Я сидела возле окна, впивалась ногтями в подоконник и считала удары, пока числа не потеряли смысл. На шестом Миро закричал. На двенадцатом голос сорвался. После двадцатого наступила тишина, и она разодрала меня страшнее крика. Чернышев ужинал напротив, разрезал жареную куропатку и рассказывал, сколько свечей зажгут на приёме. Я кивала, глотала вино и чувствовала на языке кровь мальчишки.

— Вы сегодня молчаливы, — заметил он.

— Берегу слова для брачной клятвы.

— Неужели смирились?

— Нет. Учусь лгать убедительнее.

Он поднял бокал, будто я произнесла тост.

Утром приёма меня начали одевать ещё до полудня. Три горничные натянули на меня жёсткий корсет, привязали к талии широкие фижмы, расправили поверх них нижние юбки и наконец опустили тяжёлое платье из серебристо-голубого шёлка. Лиф был расшит сапфирами и мелким жемчу-

гом, рукава заканчивались каскадами брюссельского кружева, подол шуршал по паркету, как зимняя река подо льдом. Волосы подняли высоко, припудрили, вплели нити жемчуга. В зеркале стояла женщина, приготовленная к жертвоприношению так роскошно, что палач мог не стыдиться гостей.

Костяной нож Миро я спрятала под подвязкой. Острие царапало бедро при каждом шаге и напоминало: у красивой вещи внутри всё ещё есть зубы.

К семи часам дом залило свечами. В парадной зале горели хрустальные люстры, в простенках отражались сотни огней, музыканты на галерее настраивали скрипки и виолы. Дамы вплывали в шёлке и атласе, мужчины склонялись над их руками, сверкая орденами, золотым шитьём и бриллиантовыми пряжками башмаков. Пахло воском, пудрой, духами с амброй и вином. За карточными столами шептались о дворе, передаче монастырских земель Коллегии экономии и новом Воспитательном обществе благородных девиц при Смольном; чиновники спорили, можно ли вырастить дворянку вдали от семьи, пока их жёны решали важнейший вопрос — сколько месяцев прошло после смерти моего мужа и достаточно ли этого, чтобы лечь под нового.

Я слышала каждое слово.

— Говорят, княгиня сама просила графа о защите.

— Защита нынче называется браком?

— Если защитник богат, можно называть как угодно.

Мне хотелось повернуться и спросить, как они назовут

клетку, если прутья украшены сапфирами. Но Чернышев держал меня под локоть, и его пальцы через шёлк напоминали нам обеим, кто здесь хозяин.

— Улыбайтесь, Екатерина Павловна, — произнёс он, не разжимая губ. — Сегодня все смотрят на вас.

— Пусть запоминают лицо женщины перед казнью.

— Вы преувеличиваете.

— Только потому, что нельзя умереть дважды.

Он вывел меня в середину залы, попросил музыкантов замолчать и поднял бокал. Разговоры стихли. Десятки лиц повернулись ко мне. Я почувствовала себя раздетой сильнее, чем в ту ночь, когда Николай сорвал с меня рубашку: тогда унижение видели стены, теперь его пришли приветствовать лучшие фамилии столицы.

— Друзья, — начал Чернышев, — сегодня я имею честь объявить, что княгиня Екатерина Потоцкая согласилась стать моей женой. Венчание состоится через восемь дней.

Зала взорвалась поздравлениями. Дамы улыбались, мужчины поднимали бокалы, оркестр ударил торжественную мелодию. Кто-то крикнул «горько», подхватили ещё несколько голосов. Чернышев повернулся ко мне.

— Они требуют доказательства.

— Пусть требуют у вас. Вы привыкли брать без согласия.

— Сегодня мне нужно ваше.

— Вы уже купили его двадцатью ударами плети.

Улыбка на его лице дрогнула. Он обнял меня за талию и

поцеловал. Я не закрыла глаза. Смотрела поверх его плеча на гостей, видела их любопытство, зависть, возбуждение чужим счастьем, которого не существовало. Сапфировое кольцо врезалось в мой палец, корсет ломал рёбра, слёзы жгли глаза, но я заставила рот ответить на поцелуй.

Раздались аплодисменты.

Так, наверное, рукоплещут удачной казни.

— Прекрасно сыграно, — прошептал Чернышев, отпуская меня.

— Вы ещё не видели последнего действия.

Музыка снова загремела. Начался менуэт. Я двигалась между напудренными головами, делала реверансы, подавала руку партнёрам и ждала запаха дыма. Каждая минута тянулась раскалённой проволокой через позвоночник. Мир могли выгнать. Он мог лежать без сознания. План мог умереть под плетью, а я продолжала танцевать на его могиле в платье невесты.

На третьем круге сквозь амбру пробился запах гари.

Сначала закричали во дворе. Потом распахнулись двери, и в залу вбежал слуга.

— Пожар! Сенник горит!

Гости шарахнулись к окнам. Музыка оборвалась. Чернышев обернулся к двери, и я увидела, как на один удар сердца его пальцы разжались.

Этого хватило.

Я выскользнула из залы.

В коридоре уже метались лакеи с вёдрами. Из распахнутых дверей тянуло морозом и дымом, на лестнице толкались гости, спасая меховые накидки и драгоценности прежде чужих жизней. Я прижалась к стене, сорвала с причёски жемчужную сетку и побежала к чёрному ходу, проклиная фижмы, которые цеплялись за мебель и превращали каждый поворот в борьбу с собственным платьем.

У двери в кладовую меня схватили за руку.

Я выдернула нож.

— Тише, золотая.

Миро.

На нём была ливрея лакея, слишком широкая в плечах. Лицо распухло, губа рассечена, под левым глазом налился чёрный кровоподтёк. Он стоял, но дышал коротко, будто каждый вдох резал спину изнутри.

— Тебя выгнали.

— Вернулся через кухонное окно.

— После двадцати плетей?

— После восемнадцати. На девятнадцатой ваш Фёдор промахнулся.

— Он помог тебе?

— Он ненавидит графа больше, чем любит жалованье. Быстрее. Чернышев скоро поймёт.

Миро втолкнул меня в кладовую. На полу лежали серое платье служанки, передник и шерстяной платок. Я рванула застёжки на лифе, но пальцы дрожали и не слушались. Он

отвернулся, пока я сбрасывала серебряный шёлк, фижмы и нижние юбки. Роскошная невеста Чернышева осталась лежать на мешках с мукой пустой оболочкой, а я натянула грубое платье прямо поверх сорочки. Сапфировое кольцо не снималось.

— Нож, — сказал Миро.

Я просунула лезвие под ободок и надавила. Кожа лопнула, кровь потекла по пальцам, но кольцо наконец соскользнуло. Я положила его на лиф свадебного платья.

— Передай жениху, что я вернула обещание.

Мы выбежали во двор. Дальний сенник полыхал, пламя лизало чёрное небо, лошади били копытами в стойлах и ржали так пронзительно, словно чуяли смерть. Слуги передавали вёдра цепочкой, офицеры командовали, дамы визжали на крыльце. В дыму никто не заметил служанку и избитого лакея, пробравшихся за конюшню.

Миро поднял доски в пустом стойле. Под ними чернела яма.

— Марта? — спросила я.

— Марал уже едет за ней.

— Ты обещал, что её заберут.

— Заберут, если мы сейчас не погибнем.

Сзади хлопнула дверь.

— Катерина! — голос Чернышева прорезал шум пожара.

— Закрыть ворота! Обыскать конюшни!

Миро толкнул меня вниз и полез следом. Я упала в ледя-

ную жижу, ударилась коленями о камень. Водосток был таким низким, что приходилось ползти. Ил набивался под ногти, юбка намокла и тянула назад, своды давили на затылок. За решёткой впереди виднелся клочок ночи.

Наверху затопали сапоги.

— Здесь доски сорваны!

Миро добрался до решётки и отогнул подпиленные прутья. Один не поддавался. Он навалился плечом, застонал, и на спине ливреи проступили тёмные полосы крови.

— Хватит, — прошептала я. — Ты разорвёшь раны.

— Лучше раны, чем петля.

Прут лопнул. Миро вытолкнул меня наружу. За стеной лежал пустой заснеженный переулок; у дальнего угла ждала крытая телега. Я обернулась, чтобы помочь ему, но сверху в водосток ударил свет фонаря.

— Бегите! — крикнул Миро.

— Дай руку!

— Я задержу их.

— Нет!

Он схватил меня за запястье и прижал окровавленную ладонь к губам.

— Хоть раз не спорьте с мужчиной, который вас любит.

— Миро, ты не понимаешь, что говоришь.

— Понимаю лучше вас.

Он толкнул меня в снег и вернул решётку на место. Из темноты донёсся удар, потом ещё один. Я бросилась к пру-

тъям, но кто-то обхватил меня сзади.

— Пусти! Он там!

— Поэтому ты должна ехать, — прошипела Марал мне в ухо.

Она была в мужском овчинном тулупе, седые косы спрятаны под меховой шапкой. Марал тащила меня к телеге, а я билась, царапалась, звала Миро, пока горло не разодрало криком.

Во дворе грянул выстрел.

Ноги перестали держать.

— Они убили его.

— Нет. Убить проще, чем узнать, куда он тебя отправил.

Чернышев захочет спрашивать.

— Тем более вернись!

Марал ударила меня по лицу. Жёстко, без жалости. Я замолчала от потрясения.

— Мой сын остался там не ради того, чтобы ты полезла обратно в клетку, — сказала она, и её чёрные глаза блестели от слёз. — Не делай его жертву бессмысленной.

В телеге лежала Марта. Бледная, связанная, но живая. Увидев меня, она заплакала и протянула руки. Я упала рядом, обняла её, прижалась лицом к родному плечу, однако облегчения не было. За нами горело небо. Там остался мальчик, который спас меня, не потребовав ничего, кроме свободы, которой сам не получил.

Марта гладила мои спутанные волосы, шептала молитвы

и называла девочкой, а я смотрела на собственные ладони. На одной запеклась кровь от кольца, на другой — кровь Миро. Между ними лежала моя свобода, купленная чужой плотью, и от её цены меня выворачивало так, что зубы стучали. Я мечтала об этой минуте за каждой запертой дверью, представляла, как вдохну ночной воздух и снова стану собой, но свобода не вернула мне имя. Она сделала меня должницей. Николай заплатил жизнью за свою ненависть, Миро платил телом за мою надежду, Григорий где-то расплачивался сердцем за письмо, которого я не писала. А я всё ещё жила, словно смерть обходила меня только затем, чтобы было кому считать погибших.

Лошади рванули с места. Колёса застучали по мёрзлой дороге. В переулке послышался топот погони.

— Марал, они близко!

Она хлестнула лошадей.

Из темноты вынырнул всадник, поравнялся с телегой. Я выхватила нож, но узнала Фёдора. Его лицо было серым от дыма.

— Мальчишку взяли, — крикнул он. — Граф приказал не убивать. Сказал, княгиня сама вернётся, когда услышит, как он кричит.

Я закрыла глаза. Ветер бил в лицо, слёзы замерзали на щеках, Марта держала меня обеими руками, а внутри уже разворачивалась та самая цепь, которую Чернышев бросил мне вслед.

Он ошибся только в одном.

Я вернусь не потому, что услышу крик Миро.

Я вернусь, чтобы заставить кричать уже его самого.

Глава 10

Я опоздал на сорок семь минут.

Именно столько показывали часы в парадной зале Чернышева, когда мы ворвались в дом: стрелки остановились без четверти десять, стекло треснуло от жара, позолоченный маятник замер, будто само время увидело, что случилось с Катей, и отказалось идти дальше без неё.

Пожар уже почти потушили. Дальний сенник ещё дымился, снег во дворе почернел от золы и сапог, по камням текла грязная вода. Испуганных лошадей выводили на улицу, гости торопливо разъезжались, пряча лица в меховые воротники. Дамы в бриллиантах перешёптывались у карет, мужчины делали вид, что обсуждают огонь, хотя каждый смаковал исчезновение чужой невесты.

Я соскочил с коня прежде, чем тот остановился. Ветер сорвал с головы треуголку, но я не обернулся. За мной спешили Глеб и Волков. Мы были вооружены так, словно собирались брать крепость: шпаги, пистолеты, короткие охотничьи ножи. Только крепость оказалась распахнута, а пленницы внутри не было.

У крыльца дорогу перегородили двое караульных.

— Его сиятельство никого не принимает.

— Меня примет.

— Приказано не пускать.

Я ударил первого рукоятью пистолета. Второй потянулся к ружью, Волков выбил его ударом сапога. Глеб посмотрел на лежащих и устало произнёс:

— Дипломатия по-никитински.

— Зато без переводчика.

Мы вошли.

Дом пах гарью, мокрой шерстью и страхом. По мраморному полу тянулись грязные следы, лакеи таскали вёдра, на лестнице валялись брошенные веера, перчатки, одна женская туфелька с бриллиантовой пряжкой. В зале ещё горели люстры. Сотни свечей освещали опрокинутые бокалы, растоптанные цветы и музыкантов, торопливо укладывавших инструменты. Здесь объявили о помолвке Кати. Здесь чужие люди поздравляли мужчину, который украл мою женщину, а я в это время сидел над планом дома и воображал себя умнее собственного несчастья.

Серебристо-голубой лоскут лежал возле чёрного хода.

Я поднял его. Шёлк был разорван у застёжки, пах Катей, дымом и мужскими духами. На ткани темнело маленькое пятно крови.

В груди что-то лопнуло.

— Она была в этом платье, — сказал подошедший лакей.

— Его сиятельство объявил свадьбу через восемь дней.

Я схватил его за ворот.

— Где княгиня?

— Сбежала, ваше сиятельство. Во время пожара.

— Одна?

Лакей посмотрел в сторону конюшни и побледнел.

— Говори.

— С конюшим мальчишкой. Цыганом, кажется.

Миро.

Ревность была безумием, я понимал. Мальчишке не исполнилось семнадцати, Катя смотрела на него почти как на ребёнка. Но я увидел его чёрные глаза, то, как он всегда тянулся к ней, как целовал её руки, и внутри поднялась такая густая, ядовитая ярость, что на мгновение я забыл главное: он вытащил её оттуда, где не успел я.

— Граф Никитин.

Чернышев стоял на верхней ступени. Праздничный кафтан был расстёгнут, на белом камзоле чернела копоть, волосы выбились из ленты. Впервые я видел его не безупречным. Только лицо оставалось спокойным, и от этого хотелось ломать его медленно, кость за костью, пока выражение не станет честным.

— Вы всё-таки пришли, — сказал он. — Жаль, княгиня не дождалась.

Я поднялся навстречу.

— Где она?

— Если бы знал, не беседовал бы с вами.

— Что вы с ней сделали?

— Предложил имя, защиту и дом.

— Заперли.

— Вы тоже запирали. Только называли это любовью.

Удар попал ему в рот. Чернышев отшатнулся, спиной ударился о перила, но удержался. Кровь выступила на губе. Он провёл по ней пальцем и улыбнулся.

— Теперь понимаю, почему она предпочла меня.

Я ударил снова. Он уклонился и всадил кулак мне под рёбра. Воздух вышибло, но боль только прояснила ярость. Мы рухнули на лестницу, сбивая подсвечник. Свечи покатались по ступеням. Я бил его лицом о мрамор и видел не Чернышева — каждого мужчину, который прикасался к Кате, каждый замок на её двери, каждый след на её коже. Видел себя среди них и потому бил сильнее.

Кто-то заломил мне руки. Глеб.

— Хватит! Убьёшь его — не узнаешь, куда она уехала.

— Он не знает, — рассмеялся Чернышев, поднимаясь. Из рассечённой брови текла кровь. — В этом вся прелесть. Ваша княгиня сбежала от нас обоих.

— Она никогда не была вашей.

— Сегодня вечером была. Перед всем Петербургом согласилась стать моей женой.

Он вынул из кармана сапфировое кольцо. На золотом ободке запеклась кровь.

Я перестал дышать.

— Она носила его, — продолжил Чернышев. — А когда гости потребовали поцелуя, ответила мне так убедительно, что даже я поверил.

Мне показалось, лестница уходит из-под ног. Я представил Катю в серебряном платье, его руку на её талии, её губы, раскрывающиеся под чужим ртом. Изображение вошло под череп и начало выедать всё человеческое.

— Лжёте.

— Спросите сотню свидетелей.

Я рванулся, но Глеб удержал. Чернышев спустился на одну ступень и протянул кольцо.

— Возьмите. Теперь это единственное, что осталось от нашей общей невесты.

Я выбил сапфир из его ладони. Кольцо зазвенело по мрамору и остановилось возле моей окровавленной перчатки.

Общей.

Одно слово распороло меня до костей.

Из глубины дома донёсся крик.

Короткий, задавленный, слишком молодой.

Я посмотрел на Чернышева.

— Цыган сбежать не успел, — пояснил он. — Возможно, окажется разговорчивее княгини.

Я пошёл на звук. Лакеи попытались преградить дорогу, но Волков обнажил шпагу, и преданность хозяину немедленно уступила место любви к жизни. Мы пересекли кухню, спустились по узкой лестнице в хозяйственный подвал. Каменные стены сочились сыростью, под потолком коптили масляные лампы. В дальней комнате, где обычно разделявали туши, Миро привязали к столбу.

Рубахи на нём не было. Спина превратилась в месиво из старых багровых полос и свежих рассечений. Кровь стекала по бокам, пропитывала пояс штанов, капала на каменный пол. Один из людей Чернышева держал плеть, второй прижимал к жаровне железный прут.

Меня выворачивало от запаха горелого масла, крови и собственного стыда. Пока мальчишка вытаскивал Катю через грязный водосток, я выбирал оружие, рисовал стены и убеждал себя, что на этот раз непременно стану спасителем. Спасителем оказался избитый ребёнок, который любил её чище, чем умел я.

— Развязать, — сказал я.

Человек с плетью оглянулся на Чернышева.

— Продолжайте, — приказал тот.

Я приставил пистолет к виску палача.

— Развязать.

— Это мой дом, Никитин.

— А пуля моя. Посмотрим, чьё право убедительнее.

Палач бросил плеть и перерезал верёвки. Мир рухнул бы, но я успел подхватить. Он оказался почти невесомым. Голова упала мне на плечо, горячая кровь мгновенно промочила мундир.

— Не трогай, — прошептал он.

— Поздно изображать гордость.

Чёрные глаза открылись. Он узнал меня и попытался оттолкнуть.

— Где Катя? — спросил я.

— Не скажу.

— За ней погоня. Я должен найти раньше его.

— Чтобы что? Снова посадить под замок?

— Чтобы защитить.

Миро рассмеялся и закашлялся. На губах выступила кровь.

— Вы, господа, все одинаковые. Строите клетку, кладёте внутрь женщину, а потом спорите, у кого решётка мягче.

Слова ударили точнее кулака Чернышева.

— Я не он.

— Вы хуже. Он знает, что держит её силой. А вы заставляете возвращаться самой.

Я сжал его плечи. Миро застонал, и пришлось ослабить пальцы.

— Ты ничего не знаешь о нас.

— Я знаю, как она произносит ваше имя, когда думает, что никто не слышит. Знаю, как плакала над письмом. Знаю, что надела его кольцо ради старухи и выхода во двор. А ещё знаю, что сегодня поцеловала графа, потому что он обещал не бить меня.

Я медленно повернул голову к Чернышеву.

Тот стоял в дверях, прислонившись к косяку, и вытирал кровь с лица кружевным платком.

— Трогательная подробность, — заметил он. — Мальчик решил утешить соперника.

— Это правда? — спросил я.

— Она сделала выбор.

— Вы купили её поцелуй его кожей.

— Вы разве никогда не покупали женскую покорность чужой болью? Не спешите отвечать. Княгиня рассказывала достаточно.

Я хотел пристрелить его. Палец уже лёг на спуск, но Миро вцепился в мой рукав.

— Не сейчас, — выдохнул он. — Сначала найдите её.

Мальчишка, которого я секунду назад ненавидел за близость к Кате, удерживал меня от убийства ради неё. От этого унижения некуда было спрятаться. Я опустил пистолет.

— Куда они поехали?

— Не знаю.

— Ты сам устроил побег.

— До телеги. Дальше решала мать. Она меняет путь, если видит следы погони.

— Где ваш табор?

— Был у Чёрной речки. Теперь его нет.

— Миро, я не причиню Кате вреда.

— Вы уже причинили.

Я ударил кулаком в каменную стену. Кожа на костяшках лопнула.

— Она получила письмо о моей помолвке. Это ложь Чернышева. Я не делал Завадской предложения.

— Но целовали?

Вопрос прозвучал тихо.

Я мог солгать. Передо мной стоял мальчишка, едва удерживавшийся в сознании; его мнение не должно было иметь значения. Но Катя словно смотрела его глазами.

— Целовал.

— Пока княгиня сидела здесь?

— Я думал, она выбрала его.

— И решили наказать?

— Да.

Миро кивнул, будто получил ожидаемый ответ.

— Тогда не вам говорить о купленных поцелуях.

Мне хотелось потребовать уважения, напомнить, кто перед ним. Но титул, возраст и шпага не делали меня мужчиной рядом с тем, кто позволил разорвать собственную спину, чтобы Катя ушла. Они лишь делали моё поражение наряднее.

Я снял мундир и накинул ему на плечи.

— Глеб, найди врача.

— Врач ничего не исправит, — произнёс Чернышев. — Этот поджигатель останется здесь и будет передан Тайной экспедиции.

Глеб посмотрел на обгоревшие балки под потолком.

— Тогда вместе с заявлением княгини Потоцкой о незаконном заточении, принуждении к браку и похищении её служанки. Уверен, императрице понравится история, которую сегодня уже обсуждает половина столицы.

— Княгиня не станет жаловаться.

— Потому что вы её найдёте или потому что она вас боится? — спросил я.

Впервые спокойствие Чернышева треснуло. Совсем чуть-чуть, у левого глаза, но я увидел.

— Убирайтесь из моего дома.

— С мальчишкой.

— Забирайте. Он приведёт вас туда же, куда привёл меня: к пустой дороге.

Я поднял Миро на руки. Он попытался возмутиться, но потерял сознание, уронив голову мне на грудь. Его кровь впитывалась в белый камзол, превращая меня в участника чужой жертвы хотя бы теперь, когда всё уже закончилось.

На лестнице Волков поднял сапфировое кольцо и молча протянул мне. Я взял его двумя пальцами. Внутри ободка застрял клочок кожи. Катя не просто сняла подарок Чернышева — вырезала его из себя. Маленький окровавленный круг лежал на ладони доказательством того, что каждый мужчина оставлял на ней метку и называл это правом.

— Передайте княгине, когда найдёте, — сказал Чернышев за спиной, — что свадьба переносится. Не отменяется.

Я обернулся.

— Если подойдёте к ней, я вас убью.

— Встаньте в очередь, Никитин. Кажется, она сама обещала то же самое.

— Значит, останется решить, кто из нас успеет первым.

Мы вышли во двор. Снег снова пошёл — густой, мокрый, он ложился на чёрные головешки и милосердно прятал следы пожара. Возле кареты ждал Фёдор, тот самый лакей, который охранял Катю. Увидев Миров, он перекрестился.

— Живой?

— Пока. Куда уехала телега?

Фёдор оглянулся на дом.

— Сначала к Литейной части, потом свернула к Неве. Я догнал, предупредил о погоне и вернулся, иначе граф понял бы, кто помогал.

— Кто был с княгиней?

— Старая цыганка и её служанка Марта. Её забрали из дома возле Смольного.

Я закрыл глаза. Хотя бы Марта рядом. Катя не одна среди зимней ночи, не ранена в снегу, не лежит на дне Невы. Облегчение длилось один вдох, затем воображение подбросило сотни новых смертей.

— Поедешь с нами и покажешь место.

Фёдор побледнел.

— Если исчезну, его сиятельство догадается.

— Он уже догадался. Теперь выбирай, рядом с кем опаснее оставаться.

Лакей посмотрел на окна дома и забрался на козлы.

В карете Глеб уложил Миров на живот и разрезал прилипшую к ранам ткань мундира. Мальчишка застонал, не открывая глаз. Волков сел напротив, зарядил пистолет и спросил:

— Кого первым пристрелить, если догоним: цыган или княгиню? Судя по вашим лицам, добровольно не остановятся ни те, ни другая.

— Стреляй в лошадь.

— И ломаем всем шеи.

— Тогда в воздух.

— Воздух сегодня необычайно виноват.

Даже Глеб усмехнулся. Я не смог. В руке лежало кольцо, и запёкшаяся кровь Кати окрашивала линию жизни.

Мы нашли следы телеги возле набережной. Колеи тянулись вдоль Невы, пересекали Соляной двор, затем смешивались с десятками других у ночного рынка. Извозчики, обозы с дровами, сани пекарей — город уже просыпался, перемалывая чужой побег в обычную утреннюю грязь. Над крышами серело небо, на другом берегу чернели стены Петропавловской крепости. Там совсем недавно погиб Николай, и мне почудилось, будто его тень смеётся: он умер, но всё равно сумел оставить нас по разные стороны реки.

Мы расспрашивали караульных, извозчиков, торговков. Кто-то видел крытую телегу, кто-то — двух, кто-то требовал деньги и вспоминал третью. У Летнего сада след окончательно исчез.

Я вышел из кареты. Снег падал на плечи, ветер шёл со стороны Невы и пах льдом. Передо мной расходились три дороги. Ни на одной не осталось отпечатка её колёс.

— Она умеет исчезать, — сказал очнувшийся Миро.

Я обернулся. Он лежал, приподняв голову, лицо стало серым, но глаза смотрели ясно.

— И ты не поможешь?

— Помогу ей. Это не всегда означает помочь вам.

— Она любит меня.

— Да.

Ответ прозвучал без колебаний, и от него стало больнее, чем от сомнения.

— Тогда почему бежит?

— Потому что любит. Рядом с вами ей приходится выбирать между собой и вами, а она слишком долго выбирала мужчин.

Я хотел возразить, но вспомнил корабль, дом, запертые двери, её попытки вырваться из каждой моей защиты. Даже когда я спасал Катю, то держал так крепко, что на коже оставались мои пальцы. Я требовал доверия, не предлагая свободы. Хотел, чтобы она пришла добровольно, но заранее запирал все выходы.

— Что она говорила обо мне?

Миро отвернулся.

— Скажи.

— Ночью звала «Гриша». Днём проклинала. Иногда одновременно.

В горле встал ком. Я сжал кольцо, острый край впился в ладонь.

— Значит, ещё не всё потеряно.

— Вы слышите только то, что хотите.

— А ты слишком молод, чтобы учить меня любви.

— Зато достаточно молод, чтобы не путать её с владением.

Глеб закончил перевязку и накрыл Миро плащом. Фёдор вернулся от караульного, покачал головой. Никто не видел, куда свернула телега.

Сорок семь минут.

Столько оказалось нужно, чтобы женщина исчезла из огромного города, из рук двух могущественных мужчин, из жизни, где каждый решал за неё. Я смотрел на три дороги и впервые понимал: найти Катю будет труднее не потому, что её хорошо спрятали.

Она сама не хотела, чтобы я нашёл.

И в эту минуту меня настигло последнее страшное унижение: если бы я успел, если бы ворвался до пожара, сорвал с неё чужое кольцо и прижал к себе, Катя почувствовала бы на мне запах Татьяны. Увидела бы красный след помады, который я оттирал до крови, и поняла, что, пока она спасала Марту и терпела поцелуй Чернышева ради избитого мальчишки, я мстил ей чужим ртом. Никакая ложь графа не заставляла меня идти в зимний сад. Это сделал я сам. Любовь не оправдывала предательство, ревность не превращала жестокость в верность. Я опоздал к её телу на сорок семь минут, но к её доверию опаздывал, кажется, всю жизнь, раз за разом приходя с оружием именно туда, где нужны были пустые руки.

Но в моей ладони лежала её кровь, рядом дышал мальчик, знавший её тайны, а за спиной стоял враг, который тоже начал охоту.

Я разжал пальцы. Сапфир сверкнул в утреннем свете холодным синим глазом.

— Едем к Чёрной речке, — приказал я.

Миро закрыл глаза.

— Там никого нет.

— Тогда найдём место, где они были. А после — место, куда ушли.

Я сел в карету и захлопнул дверцу.

Катя исчезла.

На этот раз я собирался искать не женщину, которая мне принадлежит.

Я собирался найти женщину, которой должен был вернуть себя.

Глава 11

Первое, что я сделала на свободе, — попросила повернуть назад.

— Там Миро, — повторяла я, цепляясь окровавленными пальцами за край телеги. — Он остался из-за меня. Мы не можем бросить его.

Марал сидела на козлах, не оглядываясь. Её короткая плеть рассекала зимний воздух, лошади летели по тёмной дороге, из ноздрей вырывался пар. Петербург оставался позади — чёрный, огромный, обманчиво тихий, словно не заметил, как одна женщина выскользнула из пасти двух мужчин.

— Можем, — ответила она.

— Он ваш сын!

— Именно поэтому я знаю цену его выбору.

— Его будут пытаться.

— Уже пытались.

Слова ударили сильнее пощёчины. Перед глазами возникла спина Миро, тёмные полосы крови на чужой ливрее, его ладонь возле решётки, губы на моём запястье. Хоть раз не спорьте с мужчиной, который вас любит. А я спорила даже теперь, когда между нами лежала каменная стена и, возможно, его тело.

— Я вернусь одна.

Марта приподнялась на соломе и обхватила меня за талию. Она была слишком слабой, чтобы удержать, но я замерла, почувствовав дрожь её рук.

— Нет, девочка, — прошептала она. — Не отдавай себя обратно.

— А его отдать можно?

Марта заплакала.

Я ненавидела их обоих за то, что заставляли жить. Ненавидела Миро за жертву, которая превратила свободу в долг. Гришу — за отсутствие. Чернышева — за то, что даже после побега продолжал дёргать цепь, привязанную к моему горлу. Больше всего ненавидела себя: куда бы ни приходила Екатерина Соболевская, за ней оставались кровь, виселицы и мужчины, решившие умереть вместо неё.

К рассвету телега свернула с дороги к Чёрной речке, миновала пустой табор и ушла дальше, между соснами. Снег заметал старые кострища. Там, где недавно стояли кибитки, остались только чёрные круги золы и примятая земля. Марал не остановилась. Она провела нас ещё несколько вёрст к заброшенному дому лесничего, спрятанному в перелеске. Низкая крыша провисла под снегом, ставни были закрыты, из трубы не шёл дым.

Дверь открылась прежде, чем мы постучали. Нас впустила широкоплечая цыганка в мужском полушубке. Внутри пахло можжевельником, овчиной и хлебом. За перегородкой горела маленькая печь, на лавках спали дети, у стены висели

медные котлы, связки сушёных трав и две старые иконы в выцветших полотенцах. После золотых комнат Чернышева убогая сторожка показалась дворцом, потому что на двери не было замка.

Марту уложили возле печи. Женщина по имени Рада сняла с неё верёвки, обмыла запястья, дала тёплого молока с мёдом. Я сидела рядом, пока нянюшка не заснула, и держала её за руку, словно могла пальцами удержать всё, что у меня ещё оставалось.

— Теперь вы в безопасности, — сказала Рада.

Я посмотрела на незапертую дверь.

— Безопасность — это слово, которым мужчины называют место, откуда женщине нельзя уйти.

— Здесь уйти можно.

— Тогда это не безопасность. Это свобода.

Я произнесла слово и ничего не почувствовала.

Рада принесла таз с горячей водой и грубую льняную рубаху. За тканевой занавеской я сняла мокрое платье служанки. На теле цвели синяки Николая, у шеи темнели следы его пальцев, колени были содраны о камни водостока, на безымянном пальце зияла рана от кольца Чернышева. Я смотрела на себя и видела карту мужской любви: здесь меня удерживали, здесь наказывали, здесь украшали, здесь спасали так крепко, что оставались отметины.

Вода быстро стала розовой.

Я тёрла кожу до боли, пытаюсь смыть запах дыма, губы

Чернышева, кровь Миро, но тело не становилось моим. Оно было комнатой после пира: гости ушли, а грязь осталась хозяйке.

Марал вошла без стука. Она сняла шапку, и две тяжёлые седые косы упали на грудь. Её лицо за несколько часов постарело на десяток лет.

— Есть новости? — спросила я.

— Пока нет.

— Значит, он мёртв.

— Значит, пока нет новостей.

Я натянула рубаху и вышла из-за занавески.

— Вы ненавидите меня.

Марал долго молчала.

— Сейчас — да.

Честность распоролa грудь, но я кивнула. Ложь была бы унижительнее.

— Я тоже себя ненавижу.

— Это ничего не исправляет.

— Знаю.

— Мой сын увидел тебя и решил, что одна золотая женщина стоит больше его жизни.

— Я не просила.

— Мужчины редко ждут просьбы, когда хотят стать героями.

— Тогда почему вы помогли?

Глаза Марал блеснули.

— Потому что он попросил. И потому что мать не всегда может уберечь сына от женщины, которую он выбрал. Иногда остаётся только сделать так, чтобы его боль не оказалась напрасной.

Я закрыла лицо руками. Слезы прошли сквозь пальцы, горячие, унижительные.

— Если он умрёт...

— Не смей заканчивать.

В голосе Марал треснуло что-то живое. Она отвернулась, но я успела увидеть слезу на её щеке. Мы стояли посреди бедной комнаты — две женщины, любившие одного мальчика по-разному и одинаково виноватые в том, что он остался за стеной.

Днём Рада ушла в город. Она переделалась торговкой: надела три нижние юбки, набросила клетчатый платок, взяла корзину с сушёными яблоками. Петербургские заставы теперь проверяли подорожные тщательнее обычного — после попытки Мировича власти боялись заговорщиков, беглых солдат и каждого, кто слишком торопливо покидал столицу. Марал приготовила для меня чужой паспорт на имя вдовы новгородского купца, но предупредила: одного взгляда образованного чиновника на мои руки и речь хватит, чтобы купчиха превратилась обратно в разыскиваемую княгиню.

— Мы выедем завтра до рассвета, — сказала она. — Через Нарвскую заставу. Потом прямо к Ямбургу.

— А Миро?

— Если жив, найдёт нас.

— С разорванной спиной, за ним погоня, а мы будем ждать, что он найдёт?

— Если останемся, нас найдут раньше него.

Я подошла к маленькому окну. За мутным стеклом падал снег. Где-то за белой стеной города Гриша, возможно, проснулся рядом с Татьяной. Эта мысль появилась непрошеной и мгновенно впилась под рёбра. Я пыталась думать о Миров, о дороге, о Марте, но воображение уже рисовало зелёное платье Завадской на полу, её тёмные кудри на подушке, руки Григория на белой коже.

Ненависть к нему оказалась единственной вещью, которую Чернышев не сумел отнять.

И любовь тоже.

К вечеру вернулась Рада. Снег таял на её платке, щёки покраснелись от мороза. Она поставила корзину, посмотрела на Марал и едва заметно кивнула.

— Жив? — выдохнули мы одновременно.

— Жив.

У меня подогнулись колени. Я опустилась на лавку и прижала ладонь ко рту, но рыдание всё равно вырвалось. Марал не пошевелилась. Только закрыла глаза и беззвучно произнесла несколько слов на своём языке.

— Где он?

— У графа Никитина.

Сердце снова остановилось.

— Григорий взял его?

— Вытащил из дома Чернышева. Мальчика били в подвале. Никитин ворвался, едва не убил хозяина, забрал Миро и повёз врача.

Я представила Гришу в белом мундире, запачканном кровью Миро, его руки, подхватывающие мальчишку. Облегчение оказалось таким болезненным, что меня выгнуло, будто в тело вернули вырванную кость. Он приехал. Опоздал ко мне, но успел к Миро.

— Он знает, куда мы уехали?

— Нет. Ищет. Уже был у старого табора.

Марал резко открыла глаза.

— Кто привёл тебя сюда?

— Никто. Я трижды меняла дорогу.

— За тобой следили?

— Я не вчера родилась.

— Сегодня ты принесла человеку надежду. Она оставляет следы заметнее сапог.

Рада обиженно поджала губы, но спорить не стала. Она достала из-за пазухи узкую полоску бересты, исписанную углём.

— Это от Миро. Передал мальчишка-чистильщик, который носил воду врачу.

Марал схватила послание. Руки у неё дрожали, и она протянула бересту мне.

Почерк был неровным, несколько букв размазала кровь.

«Жив. Никитин спас. Помолвки с Завадской не было. Письмо заставил написать Чернышев. Не верьте никому. Уходите».

Я прочла один раз. Потом второй. На третьем слова начали расплываться.

Помолвки не было.

Гриша не обещал жениться на Татьяне. Всё оказалось ложью, аккуратно расставленной Чернышевым: слухи, белая роза, письмо, каждый удар точно в старую рану. Я вспомнила, как писала чудовищные строки под его взглядом, как представляла Григория рядом с другой, как ненавидела, чтобы не закричать от любви.

— Он не предал меня, — прошептала я.

Рада отвела глаза.

Так смотрят люди, которым известна ещё одна правда.

— Что? — спросила я.

— Ничего, княгиня.

— Я слишком долго жила среди лжи. Теперь слышу её раньше слов. Говори.

Она посмотрела на Марал, прося помощи. Та молчала.

— В городе говорят, что граф Никитин был на балу у Завадских, — осторожно начала Рада. — Танцевал с княжной дважды.

— Это ничего не значит.

Даже мне самой голос показался жалким.

— Два танца подряд при дворе значат намерение, — ска-

зала Марал. — Ты это знаешь.

— Он хотел заставить слух стать правдой. Думал, что я выбрала Чернышева.

Рада провела ладонями по юбке.

— Их видели в зимнем саду.

В комнате стало тихо. В печи лопнуло полено.

— Что видели?

— Он целовал её. Прижимал к дереву. Княжна вернулась в зал с распухшими губами и следом на шее.

Каждое слово входило медленно, чтобы я успела почувствовать всю глубину.

Я увидела это ярче, чем если бы стояла рядом: зелёные глаза Татьяны закрываются, тёмные волосы рассыпаются по руке Гриши, её бедро прижимается к его телу. Он целует так, как когда-то целовал меня на корабле, — жадно, бешено, будто хочет наказать губами. Только теперь наказывал меня через другую женщину.

Меня вывернуло. Я согнулась, прижимая кулак к животу. Рада бросилась подать таз, но я оттолкнула её. Нечем было тошнить — с самого побега я не проглотила ни куска. Тело содрогалось, из горла выходили сухие, животные звуки.

— Катенька... — Марта проснулась и попыталась подняться.

— Лежи, нянюшка.

— Что случилось?

— Ничего. Просто мужчина, которого я люблю, снова до-

казал, что умеет причинять боль на расстоянии.

Я засмеялась. Смех превратился в рыдание, и я закрыла рот ладонью, словно могла удержать внутри то, что уже разорвало меня.

Марта всё-таки поднялась. Она подошла, шатаясь, и прижала мою голову к груди.

— Может, это неправда.

— Правда. Чернышев солгал о помолвке, но Гриша сам сделал ложь почти настоящей. Он хотел, чтобы я узнала. Хотел представить его рот на другой женщине и мучиться.

— Он думал, что ты выбрала графа.

— А я думала, что он выбрал Татьяну. Почему моя ошибка должна оправдывать его губы?

Марта замолчала. Ответа не существовало.

Я распрямилась и вытерла лицо. Слезы не делали боль меньше, только уродовали её, превращая ярость в просьбу о жалости. Я больше не хотела просить.

— Мы уезжаем утром, — сказала я Марал. — Но не потому, что боюсь Чернышева или Григория. Я уезжаю, потому что ни один из них не получит право решать, когда мне вернуться.

— Куда?

— Сначала в Нарву. Потом туда, где нас не знают.

— К отцу? — спросила Марта.

Имя де Руа не прозвучало, но легло между нами ещё одной дорогой. Человек, чья кровь текла во мне, существовал

где-то за пределами этой сторожки и, возможно, был единственным мужчиной, не успевшим потребовать за родство мою свободу.

— Не знаю. Я устала принадлежать даже крови.

Марал достала из сундука дорожный наряд: коричневое шерстяное платье, тёмный капор, вдовью накидку без украшений. Ткань была грубой, на локте стояла аккуратная заплатка. Я переоделась. Волосы спрятали под чепец, лицо Рада натёрла слабым отваром ореховой скорлупы, чтобы кожа потемнела, а брови провела углём. В маленьком осколке зеркала на меня смотрела незнакомая купчиха — слишком бледная, слишком гордая, с глазами женщины, которую любовь дважды продала и каждый раз потребовала благодарности.

— Речь, — велела Марал. — Покажи, как говорит вдова.

— Как вы смеете допрашивать честную женщину?

— Так говорит княгиня.

Я опустила плечи и постаралась сделать голос грубее.

— Не губите, батюшка. К больной тётке еду.

— Лучше. Только меньше смотри в глаза. Купчихи не рассматривают офицеров так, будто выбирают место для ножа.

— Это будет сложнее всего.

Рада фыркнула. Даже Марал едва заметно улыбнулась, и на мгновение комната стала тёплой не от печи. Потом за окном треснула ветка.

Улыбка исчезла.

Марал подняла руку, призывая молчать. Рада погасила

ламп. Дом провалился в темноту, только угли в печи дышали красным. Детей без единого слова увели за перегородку. Мужчины, до этого казавшиеся спящими, достали из-под лапок ножи и старые пистолеты.

Я слышала лошадь.

Одну.

Она шла медленно, проваливаясь в снег. Всадник не скрывался, не торопился. Подъехал к дому и остановился у ворот.

— За Радой следили, — прошептала Марал.

— Я проверяла дорогу, — возразила та.

— Значит, тот, кто шёл, умеет ждать.

Марта вцепилась в мою руку.

— Чернышев?

— Он не приехал бы один, — ответила я.

Сердце уже знало. Оно било так сильно, что каждый удар отдавался в раненом пальце, в губах, которые ещё помнили чужой поцелуй, в теле, предательски узнавшем мужчину раньше, чем я увидела его лицо.

Я взяла пистолет у Рады.

— Катя, не выходи, — прошептала Марта.

— Я больше не буду прятаться за детьми.

Марал встала перед дверью.

— Если это Никитин, он пришёл за тобой.

— Пусть впервые услышит, что я не вещь, которую можно забрать.

— А если не услышит?

Я взвела курок.

— Тогда вернётся в Петербург без той части тела, которой целовал Завадскую.

За дверью раздались шаги. Тяжёлые, мужские. Остановились на крыльце.

Никто в комнате не дышал.

Стук был один. Не требование хозяина, не удар солдата — осторожный вопрос человека, который понимал, что ему могут не открыть.

Марал посмотрела на меня. Я кивнула.

Она отодвинула засов.

На пороге стоял Григорий.

Без мундира, в расстёгнутом чёрном кафтане, с мокрыми волосами, прилипшими ко лбу. На скуле темнел синяк, костяшки были разбиты, белая рубаха у воротника и на груди пропиталась чужой кровью. Он выглядел так, словно дрался с целым городом и проиграл только потому, что городом была я.

Наши глаза встретились.

Меня ударило его присутствием. По позвоночнику прошёл жар, горло пересохло, колени ослабли. Тело рванулось к нему раньше разума — к запаху снега и кожи, к знакомым плечам, к рукам, которых я жаждала и боялась. Я ненавидела себя за эту слабость так яростно, что подняла пистолет.

На мгновение между нами снова возник зимний сад За-

вадских, хотя я никогда его не видела. Гриша прижимал Татьяну к апельсиновому дереву, оставлял на её шее след, заставлял чужое тело отвечать за моё предполагаемое предательство. И рядом вспыхнула парадная зала Чернышева: я сама тянулась к его губам, покупая кожей другого мальчика право не услышать девятнадцатый удар. Мы оба целовали не тех, кого хотели, оба называли месть и страх необходимостью, оба превращали чужие рты в оружие. Только эта общая вина не сближала. Она вставала между нами стеной из плоти, унижения и слёз, и мне хотелось разбить её выстрелом, даже если пуля пройдёт через Григория и останется во мне. Любовь снова требовала выбрать виноватого, но в этот раз виноваты были оба.

Григорий посмотрел на ствол, потом на моё лицо.

— Мирю жив, — сказал он.

— Знаю.

— Помолвки с Татьяной не было.

— Это тоже знаю.

В его глазах вспыхнула надежда, и я убила её следующими словами.

— А поцелуй был.

Григорий побледнел.

— Катя...

— Не произноси моё имя теми губами.

Он медленно опустился на колени прямо в снег.

В комнате кто-то ахнул. Я не могла отвести взгляд. Гор-

дый, неукротимый граф Никитин стоял передо мной на коленях, не пытаясь оправдаться. Потом вынул из-за пояса пистолет, положил у моих ног, рядом снял шпагу и нож.

— Я пришёл без права приказывать, — произнёс он хрипло. — Без права касаться. Без права просить прощения. Только скажи, что ты жива, и я уйду.

Слёзы снова наполнили глаза. Я сильнее сжала оружие.

— Я жива.

Григорий закрыл глаза, и по его лицу впервые при мне потекла слеза.

— Тогда стреляй, — прошептал он. — Потому что уйти я всё равно не смогу.

Палец лёг на спуск, и я поняла: выстрелить будет легче, чем когда-нибудь снова ему поверить.

Глава 12

Катя держала палец на спуске, а я думал только о том, что она жива.

Стояла в дверях лесной сторожки, худая, бледная, переодетая купчихой. Грубое коричневое платье скрывало тело, волосы были спрятаны под чепец, кожу затемнили каким-то отваром, но синие глаза невозможно было замаскировать. Они смотрели так, словно я уже умер и теперь обязан объяснить покойнице, почему причинил ей боль.

— Тогда стреляй, — повторил я. — Потому что уйти всё равно не смогу.

Пистолет дрогнул. Совсем чуть-чуть. Этого хватило, чтобы надежда впилась в сердце когтями.

— Не смей делать из себя жертву, — произнесла Катя. Голос был тихим, но каждое слово хлестало сильнее плети. — Ты приехал, встал на колени, красиво положил оружие и теперь предлагаешь мне стать твоим палачом. Даже раскаяние у тебя похоже на приказ.

Я опустил голову.

— Ты права.

— Не соглашайся так быстро. Это тоже способ заставить меня пожалеть тебя.

— Что мне сказать?

— Правду. Всю. Без «я думал», «я ревновал», «ты сама

заставила». Почему ты целовал её?

Вокруг нас стояли цыгане, Марта, Марал. Я чувствовал их взгляды на затылке. Гордый граф Никитин, распутник, офицер, человек, привыкший судить других, должен был вывернуть собственную грязь перед женщинами и детьми. Раньше я убил бы любого, кто потребовал подобного. Теперь унижение казалось слишком маленькой платой.

— Хотел причинить тебе боль.

Катя вздрогнула, будто пуля всё-таки вылетела, только попала в неё.

— Продолжай.

— Получил письмо. Поверил, что ты осталась с Чернышевым добровольно. Решил сделать слух о моей помолвке настоящим, чтобы ты узнала и мучилась.

— Поэтому пригласил Татьяну дважды?

— Да.

— Поэтому повёл в зимний сад?

— Да.

— Поэтому прижал к дереву?

Я поднял глаза. По её щекам текли слёзы, но пистолет не опускался.

— Да.

— Куда положил руки?

Вопрос содрал кожу.

— Катя...

— Ты хотел, чтобы я представляла. Помоги представить

правильно.

Я проглотил кровь из треснувшей губы.

— На талию. Потом на бедро.

— Поднимал юбку?

— Нет.

— Хотел?

Перед глазами возникла Татьяна, её тело, моё злое возбуждение, рождённое чужим образом. Солгать было бы милосерднее, но милосердием я слишком часто называл ложь.

— На мгновение.

Катя издала тихий звук, похожий на стон раненого зверя.

— Возбуждился?

Марта закрыла рот ладонью. Марал не отвела глаз.

— Да.

Пистолет качнулся. Я ждал выстрела.

— От неё?

— От мысли, что ты увидишь. Потом представлял тебя вместо неё.

Катя рассмеялась. Смех был страшнее плача.

— Какая честь. Ты использовал её тело, чтобы трахнуть мой призрак.

— Да.

— И остановился, потому что всё-таки вспомнил о любви?

— Потому что она произнесла моё имя не твоим голосом.

Катя ударила меня рукоятью пистолета. Голова дёрнулась,

во рту стало горячо. Я удержался на коленях. Второй удар пришёлся по скуле.

— Вот этими губами? — спросила она.

— Этими.

Она приставила ствол ко рту. Металл ударил по зубам.

— Я могла бы выстрелить и вырвать из тебя всё, что казалось её.

— Можешь.

— Замолчи!

Крик разнёсся по лесу. С ветвей посыпался снег. Катя тяжело дышала, слёзы стекали на подбородок. Я видел, как её ломает желание наказать и невозможность уничтожить того, кого ещё любит. Самое жестокое, что мог сделать, — позволить ей продолжать выбирать между мной и собой.

Я осторожно отвёл лицо от ствола.

— Не стреляй ради меня. Если хочешь — стреляй ради себя. Но не позволяй мне снова решать, кем ты станешь после выстрела.

Она отшатнулась.

— Теперь заговорил о свободе?

— Мир оказался хорошим учителем.

— Мальчик с разорванной спиной научил тебя тому, чего не смогли мои слёзы?

— Да.

Признание согнуло сильнее удара. Я не имел права добавлять ничего.

Катя опустила оружие, но облегчения не пришло.

— Встань. Не хочу, чтобы они думали, будто я простила тебя потому, что ты красиво стоял на коленях.

Я поднялся. Ноги онемели от снега. Мы оказались почти одного роста из-за высокой ступени, и её лицо было так близко, что я видел каждую мокрую ресницу, маленькую ранку на губе, тёмный след возле шеи. Следы Николая. Не мои, но от этого не легче.

— Он целовал тебя? — спросил я.

Катя побледнела.

— Ты знаешь.

— Миро сказал, что Чернышев купил поцелуй его кожей. Но я хочу услышать от тебя.

— Зачем? Чтобы сравнить, кто из нас предал красивее?

— Чтобы не прятаться от твоей боли, как прятался раньше.

Она долго смотрела. Затем подошла вплотную и коснулась пальцами моей разбитой губы.

Тело вспыхнуло от одного прикосновения, но я не шевельнулся.

— Я сама поднялась к нему, — прошептала она. — Сама обняла за плечи. Сама прижалась ртом. Он сделал поцелуй мягким, почти нежным, чтобы унижить сильнее. А Миро стоял на коленях и смотрел.

Меня выворачивало до хруста в костях. Я увидел чужую ладонь на её подбородке, губы Чернышева, слёзы Кати.

Зверь внутри поднялся, требуя крови, но впервые я не позволил ему заговорить вместо меня.

— Прости, — выдохнул я.

— За его поцелуй?

— За то, что первым научил тебя: любовь можно использовать как кнут.

Пальцы Кати замерли на моей губе, потом она резко отдёргнула руку.

— Я не прощаю тебя.

— Знаю.

— И не обещаю, что когда-нибудь прощу.

— Знаю.

— Перестань всё знать! — Она снова сорвалась на крик.
— Раньше ты знал, как мне жить, где спать, кого бояться. Теперь знаешь, что я чувствую. Оставь мне хотя бы право самой не понимать!

— Оставлю.

Она подняла ладонь, готовая ударить, но Марал вмешалась:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.